

БОРИС СПОРОВ

Волжский роман



Перекажи-моё-поле

Волжский роман

Борис Споров

Перекати-моё-поле

«ВЕЧЕ»

2021

Споров Б. Ф.

Перекасти-моё-поле / Б. Ф. Споров — «ВЕЧЕ»,
2021 — (Волжский роман)

ISBN 978-5-4484-8644-9

В новой книге известного автора Бориса Спорова описывается жёсткая и даже жестокая послевоенная жизнь, увиденная глазами подростка и юноши, изображённая достоверно до последней точки. Первая часть – послевоенная деревня: налоги, работа за «палочки», утрата кормильцев – и бабья доля; рано повзрослевшие дети войны. Вторая часть – «Кабала» – посвящена строительству Горьковской ГЭС от первого колышка до пуска гидростанции на полную мощность. Ещё более тяжелые испытания и совсем иные люди – фронтовики, уголовники, бывшие и настоящие. Третья часть – «Письмена тюремных стен» – шаг за шагом раскрывает темные страницы XX века. Борис Фёдорович Споров родился в 1934 году. За свою жизнь сменил множество профессий: работал плотником, электросварщиком, слесарем-сборщиком, монтажником... Был арестован и приговорён к четырём годам ИТЛ по ст. 58.10.11. После освобождения поступил в Литературный институт. Во время и после учебы работал школьным учителем, а после реабилитации – редактором многотиражной газеты, зав. отделом журнала «Наш современник», в издательствах «Современник», «Отчий дом», «Новатор». Лауреат Патриаршей литературной премии за 2017 г.

ISBN 978-5-4484-8644-9

© Споров Б. Ф., 2021
© ВЕЧЕ, 2021

Содержание

После войны	7
Дорога	7
Дом солдатки	9
За орехами	11
Мой старший брат	13
Горькая ягода	14
Как мыли избу	15
Чужой	17
Федя	18
Витя	19
Симка	20
На Суре	21
Молочный пункт	23
Отец	24
Огурцы впрок	25
Погода	27
По грибы	28
Мякина	31
Председатели	35
Престольный праздник	36
Колхозники	40
Бабье лето	42
«Картошкина страда»	43
Иван воскрес	44
Картошка в поле	46
Митя	48
Моя крепость	49
Сухое мясо	51
Капуста, моя капуста	54
Пятьдесят трудодней	55
Погромщики	56
Первый снег	59
По дрова	60
Отец, лыжи, поросенок и волки	62
Поп	64
Мамка	66
Слабо!	67
Кто кого?	68
Поджигной	69
Снеги белые...	70
Живой огонь	71
Звезды горят...	73
Временщик	74
Дунюшка ратунинская	75
Звери	77
Пожар	78

Новый 1946 год	80
Каникулы	82
Вечером в сочельник	83
Святки	85
Волки	86
Крещенский сочельник	87
Председатель Иван	88
Масленица	89
Великий пост, молозиво и молитва	90
Арест	91
Ревизор	93
Кем быть?	94
И грудь в крестах, и голова в кустах	96
Квёлые	97
Картошкин могильник	98
Меченый	99
Верба бела	101
Вербное воскресенье	103
Хворуны	105
Коняги	106
Бабы	107
Дикий лук	109
Конец ознакомительного фрагмента.	110

Борис Фёдорович Споров

Перекасти-моё-поле

© Споров Б.Ф., 2021

© ООО «Издательство «Вече», 2021

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2021

Сайт издательства www.veche.ru

После войны (Год в деревне)

Дорога

Когда отец в 1945 году приехал из госпиталя в Актюбинск, то спросил нас с Митей:

– Куда вас отвезти: в Киргизию (там он работал до войны) или на Волгу (на свою родину)?

– На Волгу, – решили мы, потому что нам надоел песок на зубах и мелкая пересыхающая речушка: мы станем ловить рыбу на Волге, и тогда у нас будет еда.

И отец согласился:

– Мне туда и не надо бы, но вас я на Волгу отвезу...

И отвез.

Здесь, на Волге, немцев во время войны не было, но люди и после войны дышали с трудом. Кто-то задыхался от утрат, кто-то от физического изнурения; мы с братом и мама все еще задыхались от затяжного голода, отец – от военной усталости... В родном его городке, маленьком и неудобном, работы для него не нашлось. Работу предложили в деревне, в Смольках. Я не мог себе даже представить, как можно жить в деревне, если там и всего-то несколько десятков домов, нет ни магазинов, ни карточек, ни городского рынка. Совсем будет нечего есть!

– Там у каждого свое продовольствие, без своего в деревне нельзя, – хмуро пояснил отец. – В деревне так: что потопашь, то и полопашь.

Но я ничего не понял – не мог понять...

Отец уже несколько дней жил в деревне, когда и мы отправились к нему – пешком, двенадцать верст. И еще не раз ходил я по той дороге, но первое путешествие неповторимо запало в душу, так что и слов нет.

Стоило лишь свернуть с булыжного большака на проселок, городок как будто провалился за спиной, а впереди открылось такое восторженное приволье, что и дыхание перехватило. Справа простиралось хлебное поле с тяжелым обвисшим колосом – вплоть до мелкой речушки с непонятным названием Сундовик. За мостом на взгорке сказочно рисовался светлый смешанный лес. А слева, вдалеке, – яблоневый совхозный сад и огороды вплоть до нашей дороги, – и мы с опаской срывали огурцы и грызли их острыми изголодавшимися зубами.

В лесу проселочная дорога была крепко стянута мозолистыми корнями деревьев. Мама с братом шли по тропке на обочине, а я, как непутевый фокстерьер, убегал то в одну, то в другую сторону, искал и находил грибы – и весь содрогался от восторга, хотя мы и не могли определить: съедобные грибы или нет.

– Ты не рыскай, побереги силы – впереди еще десять километров, – тщечно охлаживала мама.

Знала бы она, какие концы отмахивали мы с Юрой в походах за рыбой по пескам и колючкам! Но здесь – я был опьянен. Какие деревья, какие родники вдоль дороги – обложенные гольшами, с песчаным дном и с узелками пульсирующей воды, студеной и вкусной! И всякий раз я нырял лицом в воду и радостно смеялся... А потом громадная поляна с домом лесника в глубине и стога золотистого сена. Три сторожевых собаки лениво ухали в нашу сторону...

В лесном овраге было сыро и хмуро. На дороге в беспорядке валялись жерди и ветки деревьев. Тянуло ознобом. Робая, я подумал: «Сейчас и выскочит волк или медведь!» – и поднял суковатую палку, чтобы отбиваться.

Когда же мы вышли из леса на чечевичное поле, то как-то сразу и навалилась усталость: ноги отяжелели, во рту появилась горечь. Впереди едва вынырнули крыши домов и возвышалась церковь с колокольной – Смольки.

Мы представляли собой, наверно, печальное зрелище. Узел с пожитками давно уже оттянул маме руки, и она то и дело перебрасывала ношу с одного плеча на другое; брат хромал следом с кошелкой в одной руке и с клюшкой – в другой; и я с хозяйственной тяжелой сумкой – безнадежно усталые и неприкаянные.

Занятые собой, даже не углядели, откуда они взялись – подростки моего возраста, лишь покрупнее, помордастее. Босые, рубахи навывпуск, на одном ветхая кепочка с висячим козырьком. Не отошли мы и двух десятков шагов, как под ноги нам шлепнулись сухие комья земли. Мама опустила ношу, взяла у брата клюку и пошла на задир – и все это молча с обеих сторон. Подростки беззаботно развернулись и пошли в глубь чечевичного поля.

Не ходи ко мне в деревню,
Не ходи ко мне в село.
На деревне бабы лают
И в селе не весело! —

донеслось до наших ушей.

От деревни повеяло холодом.

Остатками воды из бутылки мама ополоснула себе лицо, головным платком утерлась, поправила волосы – и мы пошли, все ближе и ближе к чужому очагу.

Деревня залегала на взгорке, дворов сорок в два порядка; за домами спуск к реке Суре. Налево деревня упиралась в Лисий овраг. Всего лишь одна крыша под железом да одна под тесом, остальные под соломой впритык с соломенными дворами.

Дорога вела между скотными постройками и гумном с одной стороны и церковью с кладбищем с другой. Церковь с заколоченными окнами, заросшая со всех сторон кустарником и бурьяном, и даже с выступа колокольни падала хилая березка. Ограды не было, но кресты на старом кладбище еще стояли.

Редкие деревья вдоль улицы склонялись сиротливо над домами – и никого не видно, деревня казалась затаившейся или нежилой.

В кирпичном доме под железом с одной стороны размещался медпункт, с другой – Правление колхоза «Путь Ленина». Дом этот когда-то принадлежал церкви.

Дом солдатки

«От Правления четвертый дом направо», – наказывал отец.

Дом широкий, на пять лицевых окон, но уже завалившийся, с оплывшей завалинкой. На крыльцо вышла женщина с плоским, как будто раздавленным лицом, глубоко пожилая, хотя лет ей, оказалось, столько же, как и нашей маме. Из-за ее спины выглядывал белобрысый мальчик лет семи.

– Вы Настя? – спросила мама.

– Она самая и есть, Настя. Заходите сюда. – Нет, Настя не улыбнулась, губы ее бесформенные горько изогнулись. – Заходите, – повторила она и пошла в избу – звучно заиграли хлябкие половицы на мосту¹.

Первый деревенский дом, в который я вошел в сорок пятом году, и до сих пор он представляется мне скелетом дореволюционного существа: могучий сруб, полы, потолок, тесовые отгородки – все как будто до кости оголенное, гладкое, отскобленное и вымытое, отсвечивало желтизной. Шторка на печи, шторы на окнах, голый стол в углу передней, две скамьи и несколько табуреток, да над столом иконы с подвесной лампадкой – вот и все. В широкой горнице на три окна опять же голый стол с самоваром, скамья и широкая деревянная кровать, покрытая одеялом из лоскутков.

Хозяйка вытянула с печи вытертое ватное одеяло, пошлепывая по полу босыми ногами, прошла в горницу, разбросила одеяло на пол и сказала:

– Вода на мосту – умойтесь с дороги да отдохните, – сказала и пошла, и руки ее обреченно обвисли.

Нам суждено было прожить в этом доме всего лишь несколько дней. Зато окунулись мы как будто в собственный мир: хозяин дома – муж и отец – уже в 1941 году погиб на фронте, а в 1945-м и старшего сына мобилизовали, так что солдатка Настя осталась с дочерью Валею и сыном Гришей. Тихий унылый мальчик с печальными глазами, Гриша точно привязан был к матери.

Вскоре Настя накинула на плечи мужской пиджак и ушла на колхозную работу. Шла она по-мужицки твердо и отрешенно, а следом за ней семенил Гриша.

Далеко за полдень из леса пришла Валя, рослая, крепкая девчонка. Мне она показалась настоящей невестой.

– Помоги, – сказала мне Валя, освобождаясь от узкого мешка с орехами, перекинутого через плечо, как солдатская скатка.

На мосту она развязала мешок, вытряхнула орехи на пол, разгребла кучу рукой. Как будто колючки топорщились грозди орехов.

– Вот тебе за помощь, – и прихватила ладонями большую горку орехов. – Иди лузгай. – И подошла к рукомойнику, чтобы смыть усталость и пот.

Именно тогда, в тот день, в тот час и минуту, с гроздьями лещины в обнимку, я не только почувствовал, я пережил, перетерпел, как собственную боль, сострадание постороннему человеку – вот так и воспринял вместе с Валею этот неудобный мешок на шее, эту набитую в уголки рта спекшуюся пыль, шалую смуту в глазах и застрявший в волосах лесной мусор. Я перечувствовал, как ей и мне сдавило грудь, затем горло, как оцепенели шейные позвонки, а ноги онемели от усталости...

Валя шумно расплескала воду себе в лицо, утерлась вафельным полотенчиком, расчесала гребенкой волосы, тряхнула головой – и оба мы засмеялись почти весело.

¹ Мост – холодные сени от крыльца.

– Ты что на меня уставился, не сахарная?! Иди лузгай орехи – завтра вместе и пойдем в лес, возьмем и тебя.

От восторга я едва не уронил на пол орехи, но не уронил – закричал во все горло:

– Ура!

Закричать-то закричал, а в душе своей вновь почувствовал, что там, внутри, что-то во мне перевернулось. Правда, тогда я еще не догадывался, что это – на всю жизнь. Но именно с тех пор я постоянно сопереживаю и радости и беды вместе с людьми, с которыми соприкасаюсь, о которых думаю.

За орехами

Утром снарядились за орехами: Валя, ее товарки-однолетки, Зина и Шура, и я, с нескладной котомкой на плече. Я вознамерился идти босой, но тотчас же получил внушение от Вали:

– Ты, летошний жених, кто же в лес босиком ходит? Надень какие-нито обутики: там-то и сучки острые, и шишка сосновая, и на гада ненароком наступить можно... И голову, голову покрой.

Я и шел за орехами, как за яблоками: залез на яблоню, потряс – и загружайся по силам. Только и есть, что нести. Донесу, думал я, а ходить не привыкать.

Мне, хотя и должно было скоро исполниться одиннадцать лет, на вид можно было дать и меньше: истощенный маломерок. И моим благодетельницам-товаркам было невдомек, что я, мужичок лихолетья и улицы, и понять все могу, и рассудить по-взрослому.

Они шли размашисто и ходко и без умолка говорили, будто и времени не было наговориться. Я забежал вперед то слева, то справа, заглядывал им в лица, но они меня как будто и не замечали. «Во, зануды», – ворчал я и все прислушивался к их разговору.

Зина, под стать Вале, рослая и жилистая невеста. Она была бы даже красивая, только глубокий шрам уродовал ей нижнюю губу. Зато коса у нее была золотистая, до пояса. И рассуждала Зина раздумчивее и глубже. А Шура и пониже товарок, и поплотнее. Она, похоже, уродилась хохотушкой, потому и в разговоре шутейски ахала, покачивала головой да вклинивала смешные словечки.

Как только вышли за картофельные усады, так и повеяло простором и лесом. Справа от тока по взгорку до самого леса рядками тянулась пропаханная и уже пожухлая картошка. Мы огибали поле вдоль Лисьего оврага по хозяйственной конной дороге. Я уже знал – за оврагом по опушке леса и начинается орешник, но до сплошного орешника надо пройти еще километр...

– Не бай-ка, дома теперь и завалящего не сыщется – одни мальчишки.

– Знамо дело, так. Наши-то залетки на фронтах полегли, – согласилась Зина, – а кои остались – из армии не возвратятся. Вот и твой братушка усваивает городскую. И ждать нечего.

«О женихах говорят! – сообразил я, и сердчишко мое так и встрепенулось. – Да ведь это они так плачут!...» Вот и я заплакал в своей душе. Знал я, дома говорили об этом: паспортов в деревне не выдают, а самовольно уйдешь в город – в тюрьму посадят... И я легко представил жизнь моих товарок: вот исполнится им по шестнадцать лет – и начнут их наряжать на работу в колхозе, через суд, а заставят работать. А женихов в деревне так и не будет, городские не придут сватать. Исполнится им и по двадцать лет, и по двадцать пять, и по тридцать – вот и старухи. Так они и станут ходить вместе и на трудодни, и в лес за орехами – и плакать...

Я забежал подальше вперед – и обернулся: навстречу шли старушки и о чем-то шамкали ссохшимися ртами.

– Тогдашеньки и припоем: «Старушка моя, у нас залеточка один: ты гуляешь, я ревную – давай его продадим!»

Я тряхнул головой, закрыл-открыл глаза – и наваждение исчезло: товарки мои весело смеялись.

– А вот наш женишок! – вскрикнула Валя. – Сейчас мы его и начнем целовать! – и побежала ко мне.

Ужас охватил меня, я действительно представил, что они по очереди меня целуют, и когда доходит черед Зины, она прикладывает своим шрамом! Я развернулся и дал во всю прыть теку! А за спиной оглушал топот ног и веселый смех...

Оказалось, орехи собирать непросто. Прежде всего, надо их увидеть, часто зеленые грозди сливаются с остроконечными листьями. Упругий орешник надо пригнуть и только затем обрывать орехи и отправлять их в проем мешка на плече. И всюду кустарник, ямины – не про-

лезешь! Я обрывал орехи подряд, замечая между тем, что товарки больше грызут орехи, чем собирают впрок. Но уже скоро Валя сказала:

– Ты, милый, не обдирай все подряд. Пробуй – не то принесешь пустых.

«Как это, – думал я, – каждую гроздь пробовать?» – Не понял, что снимать пробу надо с ветки, с куста: если один-два ореха пустые или молочные, то и оставь куст – иди к другому.

Сначала заболела шея, а затем в глазах зарябило – вскоре и голова закружилась... Вот почему глаза становятся шалые, а рот воспаленный от пробы орехов.

В деревню возвращались молча – усталые. Состоялся лишь один короткий разговор:

– Еще разочка три схожу – и хватит, малый мешок и по завязку.

– И я тоже, – согласилась Шура.

Зина молчала, шла напряженная, со своей думой наедине.

– Что, уже и на зиму хватит? – по-хозяйски рассудил я.

В ответ Валя усмехнулась:

– Да не на зиму, а в счет налога, вместо шерсти или яиц.

Для меня это осталось загадкой, но я согласно кивнул, делая вид, что понял.

Мы уже шли по задворкам, когда на краю усадов я увидел и узнал обидчика, одного из тех, которые швырнули в нас комья земли. При нем была коса.

Шаркнув лопаткой по жалю косы, он поморщился и выкрикнул:

– Эй, парень!

Я не понял, кому это он.

– Чего крутишь головешкой? Ты и есть парень, коли с девками!

Я обомлел от его насмешки. И не будь у него в руках косы, непременно ринулся бы на него с кулаками. Но коса – как меч обоюдоострый. Только взмах – напополам и перехватит. «Погоди, – утешил я себя, – вот встречу без косы!» – И на душе вдруг стало легко.

– Как, Федюнчик, все косишь?

– Кошу...

– А курочек пошшупал? – и Шура состроила ему рожицу. Федя в ответ так и расплылся в улыбке:

– Пошшупал... Не хошь ли – и тебя пошшупаю?

Шура захихикала:

– Экий жеребчик...

Мой старший брат

Моему старшему брату Мите уже исполнилось 14 лет. И до сих пор был он для меня просто брат, со стороны я не видел его и не знал. Но в тот час, когда я вошел в горницу с орехами, я увидел брата иначе – на всю жизнь.

Митя сидел на табуретке за столом и читал какую-то книгу. Понятно – какую-то, ведь у нас в семье не было ни одной книги. Старые учебники бросили при переезде, а иных книг и не бывало. Митя поднял на меня взгляд и улыбнулся с неподдельным восторгом:

– Орехи?! Набрал!.. Теперь ты знаешь – где, сходим вдвоем!

В этот самый момент мне стало до слез стыдно, что я за годы войны не раз дрался с ним, порой не понимая даже из-за чего.

Я передал ему орехи – все! – и, наверное, с восторгом сказал:

– Вот тебе – грызи! Я нагрызся. Пойду умываться.

И пока умывался – за одну минуточку! – пережил всю братнину судьбу... По словам мамы, лет шести, что ли, в детском саду Митя ушибся на качелях. Долго синяк на бедре не проходил. А когда обратились к врачу, то и оказалось – у него загнила кость, вот и развился так называемый туберкулез кости. Для него и для мамы начались бесконечные мытарства. Ему свело ногу коленкой к груди, нога не разгибалась. В восемь и девять лет Мите сделали две операции под наркозом, с пересадкой кости. И это в другом городе, так что и не навестишь. Он и учился в больнице. И вся его детская энергия уходила на недуг и на умственные занятия: он быстро и много читал, а уж рисовал, мне казалось, как художник! Умел что-нибудь смастерить – выдумывал, вырезал, клеил... Я завидовал ему, может быть, поэтому и дрался с ним... А потом он лежал в эвакуированной из Харькова санаторной больнице – у нас в городе. Это спасло его от голода. Правая нога у него стала короче сантиметра на четыре, и в бедре она не гнулась. И это отстраняло Митю от мальчишеской жизни, стесняло и угнетало. Я не понимал этого. А вот тогда вдруг и понял. И наперед увидел – как же тяжело ему будет в жизни.

Умывшись, я вошел в горницу, уже и сам стесненный, и предложил:

– Митя, пойдем на речку, искупаемся.

– Да мы и плавать не умеем. – Митя разгрыз очередной орех и сплюнул его в ладонь. – Вкусные. Только неспелых и гнилых много. – И вдруг охотно согласился: – А что, пойдем, может, плавать научимся.

И мы пошли.

Горькая ягода

Уже с крыльца мы увидели, что перед домом напротив что-то затевается. Коноводили мои товарки, там же увивались несколько мальчишек помельче меня... Перед окнами дома плодоносила громадная ветвистая рябина. Я уже слышал от взрослых, что зима впереди холодная – рябина очень уж народилась. Но зиме еще предстояло быть, а вот ягод на дереве было так много, что казалось – и листьев нет: сплошной желто-красный шатер.

– Идите сюда, идите, женишки! – окликнула нас Валя.

Уже принесена была высокая лестница. Здесь же двуручные корзины-плетюхи – одна в другой. Под деревом на траве разостлан кусок старого брезента.

– Урожай собирать будем, – сказала Зина и протянула Мите кисть крупной яркой рябины. Митя сорвал и бросил в рот несколько ягод – и сморщился:

– Наверное, рано еще – горькая, – оценил он.

– Рано-то рано, да душа рада: сушить годится, не то ведь помощники из леса нагрянут – все соберут, ничего не оставят... Сережа, ты по деревьям лазать умеешь? Да не свались!

Что-что, а по деревьям лазить я умел. Митя подсобил мне под согнутую ногу – и я мгновенно уже сидел на первой ветке.

Товарки подняли лестницу. Мальчишки кроме Мити полезли следом за мной. И уже скоро на брезент шлепнулись первые тяжелые кисти ягод.

– Ветки-то зазря не ломайте, да сами не обвалитесь на беду, – остерегла с крыльца старуха, хозяйка дома, Шурина бабушка. Но ее никто не слушал.

А кисти падали и падали – янтарными на солнце брызгами отскакивали от брезента ягоды, и дерево как будто вздыхало, расправляя затекшие ветви... Оказалось, и ягоды оборвать непросто: на дерево-то взлезешь, а до ягод на тонких ветвях не дотянешься. Удобнее ветки над головой притягивать, но ведь и держаться надо – не то сверзишься! Зато товарки тоже приспособились: две подпирают лестницу, а третья на горе – и тут уж раздолье, кисти одна к одной.

И не заметили, как солнышко уже над Сурой зависло. Уже и с наряда колхозницы пошли. Наконец и мы спешились: глянули вверх на свою работу – и жалко стало красавицу рябину. Как же мы ее изуродовали! Была барынька в сарафане – поободрали, пообломали, повыщипали. А ведь и половину не обобрали.

По плетюхе с горой уволокли Вале и Зине, две плетюхи без горы – Шуре. Взялись за россыпь.

– А куда же ее так много? – полюбопытствовал Митя.

Валя откинула волосы со лба и как-то безнадежно вздохнула.

– Усохнет – и немного. Еще и в лес пойдем.

– И на всю зиму хватит? – Меня тревожила зима.

– Да не себе это – в счет налога.

– Рябиновую водку настаивать будут на заводе, – хмуро пояснила Зина.

И вновь непонятное для нас чудовище – налог! Какой налог? За что?

Потом я увидел, как с кистей обрывали ягоды на противни и ставили в русскую печь – сушиться. И тогда из головы не уходил – как жестокий приговор – налог!

Как мыли избу

Две оказии в один день! С утра засуетились мои товарки: избу мыть! С ними и еще две шабёрки² постарше. Оказалось, когда я еще спал, они уже нагрели в бане воды, приготовили щёлок³ – и теперь суматошничали с ведрами, с тряпками и голиками⁴. Я бегал следом за Валею и надоедливо допытывался:

– Валь, Валя, а как это мыть?..

– Ну, летошний! Мыть водой со щелоком, а пол с дресвой...⁵

Для меня это были очередные загадки, и я с негодованием, правда, негодование было притворное, закричал:

– Ты мне скажи – и с улицы мыть будете?! Каждую неделю, что ли, моете?!

Она уставилась на меня недоуменно, дважды хмыкнула, но даже не засмеялась – поняла, что для меня все в диковинку, как если бы в городе начали мылить булыжные мостовые. И Валя коротко пояснила... Изб, оклеенных обоями, в Смольках нет. Редко у кого крашенные полы. Поэтому дважды в год – к празднику праздников, к Пасхе, и к престольному празднику – избы моют теплой водой со щелоком. До войны и с мылом мыли, но после войны мыла в деревне нет, только для рук хозяйственное, вот и заваривают для стирок и для мытья изб щёлок. Кстати, и головы щелоком мыли. Для этого и золу хранили специально... Сговаривались, как теперь, пять товарок и мыли поочередно пять изб – одну избу в день. И никакой тут хитрости. А снаружи дом и дождем ополоснет.

Я восторгался, как ловко у них получалось. Разобрали деревянную тяжелую кровать, вынесли на лужайку, ошпарили кипятком, чтобы клопов не завелось, протерли тряпкой и на солнышко выставили. А в горнице уже два стола приготовили: на одном ведро щелоку, на другом простая вода – и почли потолок драить тряпками. Одна щелоком, вторая водой ополаскивает и тотчас насухо протирает. А три других товарки за окна взялись – каждой по окну. А после окон, как потолок ряд пройдут, тотчас и за стену возьмутся. Скок да скок – то со стула, то с табуретки. Вода плещется, все босые, все болтливые, и только Зина хмурится. Мне ее жаль, и я ей первой приношу щелока из летней бани. Глянет она на меня – и улыбнется, а мне радостно. Я знаю, что она с мамой вдвоем остались – и отец, и брат на войне погибли, а сестра старшая в далекое село замуж ушла... Ловки товарки, споро трудятся. К полудню уже и за пол взялись. Дресва у них заранее приготовлена. Ополоснули весь пол теплой водой, посеяли густо дресвой – в обутке ногой на голик – и в пять голиков! Так вдоль половиц рядами и проходят. А когда ототрут дресвой, опять же теплой водой смывают и протирают насухо.

В полдень горницу завершили – чистота!

А когда развели самое болото в передней, на пороге появились отец с мамой: новая оказия.

– Где Митька, найди Митьку, – сказал отец, – в другой дом пойдем. – Он скупно улыбнулся: – Спасибо этому дому – пойдем к другому.

Мои товарки смотрели растерянно, босоногие, с тряпками в руках.

А мама уже собирала на мосту наши пожитки. Отцов чемодан и наша мешочная поклажа – вот и все.

Где Митя – я знал: за летней баней читает какую-то книгу... Вот и все в сборе: взяли каждый по ноше, попрощались – и пошли в другой конец деревни, ближе к Лисьему оврагу.

² Шабёрка – соседка.

³ Щёлок – отвар золы.

⁴ Голик – веник из голых прутьев.

⁵ Дресва – истертый в порошок кирпич.

Это не переезд из дома в дом, а переход. Так вот мы и перешли в небольшой красивый домик с резными облупившимися наличниками, с высокой крапивой сбоку крыльца и с горой соломы во дворе.

Узенькая передняя с лазом на русскую печь и с закутком у печи. Направо дверной проем – и горенка на два окна. И даже икона в красном углу и керосиновая лампа на столе.

В этом доме мы и прожили весь тот год.

Чужой

Едва родители хлопнули дверью на работу, как и я поспешил к своим товаркам. Ведь там конечно же будет что-нибудь новое!

Утро выдалось ясное. Солнце уже поднялось высоко над лесом, но на траве все еще лежала роса. Земля парила. И за деревней – над поймой и рекой как будто колыхалась легкая марь. Я полагал, что в такую рань деревня еще дремлет – ничуть, от сна в деревне не осталось и следа: на лужайке возле соседнего дома Федька с курицей в руках! Он шурился и сосредоточенно прощупывал ей гузно.

– Шленда без яйца – иди гуляй! – И отбросил курицу на землю.

Пеструшка взмахнула крыльями, встряхнулась, но бежать и не подумала. Тотчас и начала клевать что-то в траве.

А возле дома на противоположной стороне улицы второй из тех, троих задир, кухонным ножом чистил морковь. Возле него, запустив себе в нос палец, канючила девочка лет пяти-шести. Наконец она повернулась в сторону Федя и без выражения на одной ноте проговорила:

– Федя-бредя съел медведя...

– Варька, и тебя съем – хочешь ли?

– Федя-бредя, не хочу...

Мне надо было идти мимо Федя – и я пошел: не трусить же. Когда поравнялись, щуря один глаз, он предложил:

– Эй, парень, давай силой померимся!

– Давай, – не раздумывая согласился я.

Мы сошлись и, пока выясняли, как бороться – бросить на землю или уложить на лопатки, – откуда-то из-за спины появился и третий. Вот они – все тут, задиры! И я подумал: «Сейчас и набуздают».

– Без лопаток, на землю бросить, – наконец решил Федя. – А ты, Вить, блюди правила, чтоб не крылечился.

Я тогда не понял, что это значит. Мы возложили друг на друга руки, я склонился, отступил назад, чтобы не получить подножку, и уже надавил на противника, чтобы затем резко дернуть на себя, а самому отступить в сторону, как вдруг получил пинка под зад.

– Раскрылечился? – решил Витя.

Оттолкнув Федьку, я развернулся и в гневе со всего размаха влепил Вите в ухо!

– Знато! – воскликнул Федя. – Двое тешатся, а третий судит!

Витя по-мужицки выругался:

– Ну, пенек, давай до крови!

А был Витя и старше меня, и крепче, и ростом выше. Я заметил, что и третий с сестрой тоже шел поглазеть. Но в это время на крыльцо вышел Митя.

– До крови, да? Давай!

– Ну так и бейтесь, – объявил Федя.

И в тот же момент Витькин кулак больно чиркнул по моему виску. Я успел отклониться и в то же время поддел противника по-городскому «на калган», то есть ударил головой в лицо. Витя зажал пальцами нос и запрокинул голову. Вот и до крови!

– Ловкий ты, парень... Токмо головой у нас не дерутся...

– А у нас трое на одного не лезут: один на один, – это уже Митя подоспел.

– Знамо дело, один на один, – согласился Федя. – Но по правилам надо...

Вот они-то и стали моими друзьями – все разные, не похожие друг на друга. Общего у них было лишь то, что все они остались без отцов.

Федя

Федя, медлительный, обстоятельный, с рахитическим или картофельным животом, безобидный и необидчивый, был на полгода младше меня, но на удивление все знал и умел. С утра и до вечера он занимался хозяйством, хотя и всего хозяйства – пять кур с петухом, комолая⁶ коза и две ярочки⁷. Сам провожал свое стадо на пастьбу, сам и встречал. Была у Феди еще сестренка двумя годами младше – и Мамка. Когда я спросил:

– А почему ты ее Мамкой зовешь? – ответил он с вялым негодованием:

– А по кочану! Она и есть Мамка. А маманю мою громом порешило. Во по кех закапывали в землю, – он чиркнул ладонью себе по горлу, – не отошла, вся почернела. Ужо третий год пошел. А Мамка – это еёная сестра. Понял ли?..

Дом у них большой, высокий пятистенок, и тоже как будто объединенный скелет.

⁶ Комолая – безрогая.

⁷ Ярочка – молодая овечка.

Витя

У Вити во время войны умер старший брат – случайно отравился, но остались еще младшие. Были они широколицые, курносые, рослые и крепкие – в отца. Отец у Петровых – легенда, о нем помнили много историй. В престольный праздник устраивал Иван Петров потешную карусель – на спор: положат ему лесину на плечи, обхватит он ее руками, а на концах по мужику, а то и по двое на руках повиснут. Вот и начнет Иван их крутить: если раскидает всех – выиграл, а если сил не хватит раскидать – проиграл... А то бороться один против шести с уговором – не хватать за ноги: так всех в кучку и уложит... А мать у Вити худенькая, маленькая, востроносая и голосистая Аннушка. Зато Витя лишнего слова не скажет. Из всех выделялся он прямоотой и справедливостью. Он и под зад поддал мне не для обиды, но для порядка: так бороться нельзя – это хитрость. Учился он плохо, учиться не хотел; и больше всего любил лошадей: любил гонять их в ночное, купать в реке. И топором орудовал, как заправский плотник.

Годом старше, учился Витя в одном классе с нами.

Симка

Кроме Симки в семье было еще два брата и три сестры. Трудно и весело жили Галяновы. От отца осталась гармонь и балалайка, и все братья играли на инструментах. А Симка, средний, был еще мастер и на припевки. Он так ловко и складно придумывал их и пел, что я нередко сгорал от зависти и даже сам пытался придумывать, но у меня ничего не получалось.

Роста Симка был моего, толстоносый, большеротый, с оттопыренными ушами; а еще – шkodливый. Садов в Смольках не было, сады вырубili, когда коммунистическая власть каждую яблоню обложила налогом, так что шkodил Симка по огородам. Все знали о его проделках, но не ругали и матери на него не жаловались.

На Суре

Лишь однажды все вместе мы побывали на Суре. А речка рядом – только под гору спустись. Пешей дорожкой сошли к школе, а от школы уже без тропы через пойму, где паслось жиденькое сельское стадо – десяток коров, десяток коз да полсотни с ягнятами овец. На нас с лаем кинулись пастушьи собаки, оказалось, так они приветствовали – с визгом собаки припадали к земле, прыгали к нашим лицам, норовя лизнуть.

– Фу! Лизуны, – прикрикнул Витя и отшвырнул кобелишку ногой. – Геть, на место!

И собаки покорно одна за другой побежали к стаду. Пойменные кочковатые луга были выедены до земли.

– Какая тут пастьба, елдыжный бабай, – по-хозяйски проворчал Федя. – Совсем пасти негде, скоро и пойму распашут. Колхозных коров на вику гоняют, дело ли – на сеяное гонять...

Никто из нас не отозвался на его раздумья. Под ногами кочи да ямины, так что Митя с трудом костылял. Речка возле Смольков была узкая, но глубокая, с несколькими крутыми изгибами, так что за берегами, поросшими ивняком, и русла не было видно. На омуте, куда мы вышли, вода ходила кругами и казалась темной.

– Ехор-мохор, далеко не заплывать – спасать некому!

Симка захлебисто засмеялся, на ходу стряхнул с себя штаны и остался в одной рубашке. И все наполовину обнажились, и только Митя одетый шурился в сторону деревни.

Смольки на Суру смотрели задворками, уныло: растрепанные или вовсе раскрытые дворы невольно заставляли думать, что деревня гибнущая. И только школа с жиденьким садом выглядела жизненно.

Слева, повыше спуска, из горы по желобам в колоды шумно падала ключевая вода. На ручье от ключа и размещался молочный пункт, где работал наш отец и где мама ему помогала.

– Как будто умирающая деревня, – Митя печально вздохнул. – Хоть бы сюда окнами, что ли...

– А то как, – хмуро согласился Витя, – из пятидесяти двух мужиков токмо шесть возвращнулось.

– Ничего! А ты на что, Витя-титя? – Симка засмеялся и, наяривая пальцами как по струнам балалайки, пропел:

Бабы – вся моя родня,
А мужиком остался я!
Заявляю в сельсовет,
Что мене одинцать лет!..

Я думал, что все так и кинутся в воду, однако нет... Позавязали на груди концы подолов рубах – и каждый за свое. Я полез за раками. Берега обрывистые, травянистые, с кустарником – самые рачьи, и норы как будто одна к одной, а раков нет. Выдрал одного – и тот какой-то дохленький.

– Ты что, парень, крысу решил пымать? Мотрай, – пробубнил Витя. – А раков у нас, почитай, не водится...

Мне казалось, что вместо купания друзья мои занимаются какой-то ерундой. Они все дальше и дальше уходили по берегу. То кто-нибудь из них лез в воду, и тогда они выволакивали на берег бревешко или чурак, то вытягивали подмытую иву, а в одном месте подняли со дна старый валяный сапог, надетый на корягу. Федя возмущался, то и дело слышалось:

– Елдыжный бабай, всю речку засмердили! Это ратунинские бараны, ехор-мохор, срамники какие...

Что такое «елдыжный бабай»⁸, кто такие «ратунинские бараны» и к кому он все обращается с негодованием – понять я не мог, да и не пытался.

Все свои «находки» они вытаскивали из воды и несли к омуту, где и складывали в кучу. Повымазались черным суглинком, загваздали свои рубахи – тут же сняли их с себя, выполоскали в реке и развесили на тальник сушиться. Тогда я и спросил:

– Федь, а что такое «елдыжный бабай» и почему «ратунинские бараны»?

– Что такое? – он недоуменно хмыкнул. – А я и не знаю – так и есть: елдыжный бабай – и все... А ратунинские – так у них полдеревни Барановых, а вся деревня – не Ратунино, а Бараны. Они мусор в речку валят! Говорят: унесет. Вот и уносит – до Смольков. А речку если не блюсти, она загниет и воды не испьешь.

Только у Феди на шее был нательный крестик на длинной крученой нитке. Когда пошли купаться, он сунул крестик в рот.

– Ехор-мохор, чтобы не утопить. Не то враз – и уплывет...

Все они как поплавки торчали из воды – и руками, казалось, не шевелили, а на плаву держались. Я же «топориком» уходил на дно, хотя и махал руками.

А Митя, одетый, на берегу, отстранившись от нас, все смотрел на деревню – что-то неясное тлело в его душе.

⁸ Кстати, я тогда думал, что «елдыжный бабай» – это какое-то жуткое ругательство, и только много лет спустя понял, что это не так. Если перевести на современный обиходный язык, «елдыжный бабай» значило бы – непутевый дед... И понятия наши изменяются до неузнаваемости. (Авт.)

Молочный пункт

Сливной или молочный пункт – небольшой рубленый домик с тесовыми пристройками – размещался на ключевом ручье не по ошибке: ключевая вода, протекая под пристройкой, летом служила холодильником – фляги со сливками и ушаты с творогом опускали в холодную воду. А в рубленом домике сепаратор⁹, который обычно крутили вдвоем за одну ручку, причем внутри сепаратора надсадно лязгали шестеренки; топка под кубом с водой для «варки» творога и кипячения сливок – вот и все нехитрое хозяйство. Ну да еще фляги, ушаты, молокомер и центрифуга для определения жирности молока.

Здесь и работал мой отец заведующим. Была и работница Нюра, но одной ей было тяжело, а еще по штату не полагалось. Вот мама и помогала без оплаты. Работы много, работа тяжелая. От одного пара, мытья посуды и помещения можно было упасть, а сепарирование, а тяжелые фляги и ушаты... Зато мама вместо зарплаты приносила домой творог и молоко, а к воскресенью и сливок.

Год этот был тяжелый, но самый сытный в моей одиннадцатилетней жизни.

Привозили в флягах колхозное молоко, но главное – несли и несли молоко женщины в ведрах на коромыслах, несли за три, за пять километров из других деревень – налог. А не сдашь налога – попадешь под суд. Или корову уведут в счет налога, овец или поросенка! Не помню точно, сколько налога приходилось на корову, но залегло в памяти – четыреста двадцать литров. И это без оплаты, за квитанцию – налог, что-то в этом роковое и гнетущее – как рабство... И вечно упреки, досада: то жирность не та, то молокомер врет. Но отец обычно бывал неумолим и суров. А мать шумливым нередко подсказывала: «Вон зачерпните ведра сыворотки». И бабы, зыркнув в сторону заведующего, черпали из бака сыворотку – себе и соседям вместо кваса и поросенку пойло – и несли на коромыслах три – пять километров домой.

Когда скапливались сливки и творог, из колхоза присылали подводу, фляги загружали, увязывали, – и отец ехал сдавать продукцию или в район, или в село Никольское на молоко-завод.

⁹ Сепаратор – аппарат для выделения сливок из цельного молока.

Отец

Родитель мой так и остался для меня загадкой. Довоенного отца я не помнил и не знал. Он привез нас к себе на родину, где и сам не бывал лет пятнадцать или шестнадцать. Все это время его утягивало глубже и дальше в Среднюю Азию. По словам мамы, он срывал нас с обжитого места, увозил на край света, а сам через полгода-год исчезал. Мама возвращалась с нами к своим родителям.

После войны мы встретили его стариком: на вид ему было за шестьдесят, хотя на самом деле – сорок семь лет. Ни одного дня мира в семье не было. Имея и без того крутой нрав и характер, отец постоянно пил.

Отец гордился, что рано начал работать, что уже в шестнадцать лет взбунтовался против отца, хлопнул по столу кулаком и ушел из дома. Был в матросах на Волге. Началась Первая мировая война, и в 1915 году он оказался на фронте. Воевал лет семь – с переходом на Гражданскую. И тоже гордился. А вот что было после Гражданской войны – я не знал. Одно знал, что призвали на Вторую мировую войну в 1941-м из Киргизии. За четыре года в артиллерии получил одну награду – медаль «За отвагу»... Одиннадцать лет воевал, одиннадцать лет прямо или условно убивал – и это не все, это лишь видимая часть его жизни. Тогда мы не могли ответить, казалось бы, на очень простой вопрос: почему с Волги, из этих благодатных мест, потянуло отца в чужую и неудобную Среднюю Азию, где нещадное солнце и на зубах песок?

Он жил без бога – и вся жизнь родителей протекала без божьего благословения. Без бога росли и мы, дети.

Огурцы впрок

Я знал, что с утра Федя будет солить огурцы впрок, на зиму. Накануне они с Мамкой уже приготовили большую кадку с кружком – ведер на семь-восемь. Федя принес из леса можжевеловых веток. Вымытую кадку устелили этими ветками, залили горячей водой, а затем опустили в воду три крупных голыша¹⁰, раскаленных до посинения, и кадку сверху закрыли старой пальтушкой. Раскаленные камни в кадке клокотали, лопались, ударялись в клепки, как будто нечистая сила бунтовала внутри... Когда камни и вода остыли, Мамка можжевельником вымыла кадку, еще раз ополоснула ее теплой водой – и душистая кадка была готова для огурцов. Ее установили в погребке на место и покрыли чистой пеленкой. Достаточно было наношено и воды. У Федя крутое и гибкое коромысло: неполные ведра воды мягко покачиваются, а Федя мелкими шажками все бежит, бежит ближе к дому.

– Феденька, али огурчики впрок решил? – поет встречная баба.

– Пора, – на ходу отвечает Федя, – некуда откладывать.

– И верно – пора, – соглашается баба, – не то ведь и до Спаса дотянешь... Коли не доберете, так приходьте. Вы меня летось как выручили!

– Ладно, ладно, коли что – приду. – А ведра покачиваются, босые ноги бегут, и похлопывают по икрам короткие широкие штанины...

Утром, похватав картошки с обратом¹¹, я выскочил на крыльцо. Федя уже хозяйствовал возле двора.

– Эй! – кричу ему. – Помочь ли с огурцами?!

Федя распрямился, ответил озабоченно и степенно:

– Коли что, и тебе дело найдется...

Сначала мы чистили и мыли чеснок, потом выбрали и вымыли укроп, остролист и листья хрена. После этого вымыли в двух водах уже загодя собранные огурцы. Казалось, Федя медленно работал руками, но дело в его руках завидно спорилось; успевал он и пояснять, что к чему:

– От укропа огурец запашистый, а от остролиста хрусткий, от хрена и чеснока – ядреный. А в кадке солить – огурец лучше не резать, закиснуть может. Как скрутил с плети, так и клади...

Помогала и сестрица Федина – на побегушках.

– Манечка! – он ее иначе и не называл. – К Галяновым за безменом сбегай и бузун¹² принесешь. – Он отвесил четыре килограмма крупной соли, ссыпал в ведро и залил холодной водой. – Мы ключевую воду не кипятим, так хорошо... Манечка, возьми большую мутовку¹³ и помешивай, чтобы соль разошлась. А мы пойдем по огурцы с грядки...

Взяли плетюху, пошли в огород. Здесь были все овощи; огурцов – две большие грядки!

– Самые крупные и желтые не брать – на семена, с палец – тоже не надо, а средние – подряд, в кадку все уйдет. А мелочь подрастет – в корчаге¹⁴ малосольные сделаем...

Когда мы наполнили плетюху и принесли к мойке, с наряда пришла Мамка, чтобы поесть и снова уйти на труд. Она всегда одевалась в темное, и на голове носила черный платок, закрывающий лоб до самых глаз. Умылась, вышла на крыльцо и сказала:

– Я заложу что есть, а потом завершим...

¹⁰ Голыш – круглый, гладкий камень.

¹¹ Обрат – пропущенное через сепаратор, обезжиренное молоко.

¹² Бузун – крупная, неповаренная соль.

¹³ Мутровка – сосновая макушка с рожками на конце.

¹⁴ Корчага – большой глиняный сосуд.

Взяла чистую зелень-приправу, ведро огурцов и медленно пошла к погребу... Мы подносили вымытые огурцы, а Мамка быстро укладывала их в кадку и что-то все шептала и всякий раз крестила огурцы... Она скоро управилась, похлебала пустых щец и ушла. А мы собрали еще плетюху урожая. К этому времени я уже так устал, что с трудом передвигал ноги. А Федя работал и работал – и никакой усталости. Подошел Симка и, что-то напевая себе под нос, взялся за мытье огурцов. Дело пошло веселее.

Солнце уже зависло над Сурой, когда Федя уложил огурцы почти до краев кадки, влил из ведра воду с разведенной солью, прикрыл огурцы укропом и листьями хрена, положил на зелень кружок, на кружок тяжелый камень, и после этого начал заполнять кадку водой. Вода булькала, уркала, и, наконец, обозначилась на уровне кружка.

– Ехор-мохор – готово! – возвестил Федя и, почесывая в затылке, признался: – Маненько притомился...

А меня мутило. Только теперь я вспомнил, что давно надо бы поесть. Поднялся и побрел восвояси.

– Упахтался парень, – посочувствовал мне вслед Федя. А Симка пропел:

Притомился мой сосед —
Отобедать мочи нет.
Федька с парнем молодцы —
Засолили огурцы...

А вечером Мамка принесла ведро огурцов. Она стукнула в окно и негромко окликнула: – Примите вот, огурчиков принесла.

Погода

На Илью Пророка погремело, но дождя не пролилось. Однако уже на другой день дождь зарядил на неделю. В улице грязи не было, мелкими ручейками вода стекала под гору к Суре. А вот между школой и молочным пунктом – грязь суглинистая. И как-то скоро повеяло унынием. Ни обуви резиновой, ни защитной одежды, чтобы прогуливаться под дождем. Митя целыми днями сидел в задумчивости. Я знал, отчего он грустит: ему предстояло учиться в седьмом классе, а в семилетку – пешком пять верст. Летом обернуться – ничего, можно, а когда погода зарядит, снег – как? Это ведь не шуточки: десять верст каждый день отмеривать с клюкой. А отец во хмелю уже не раз ронял безответственное слово – «дармояд». Мать шепотком уже заговорила о ремесленном училище. И Митя унывал, вздыхал и скупно улыбался.

Пойму и Суру как будто дымом заволокло. Небо опустилось, набухло, потемнело, казалось, уже никогда никакого просвета не будет.

«Погода, погода – теперь на полгода?!» – кричал Симка из окна, запрокидывая голову в мельтешащую хлябь.

Но деревня жила, с понуканиями, с окриками двигалась. С одной стороны Витя все что-то таял топором во дворе, с другой – неумный Федя хозяйничал. Накинув на голову старый плащ, шлепал он, босоногий, по водянистой траве то в одну, то в другую сторону. А напротив, в доме Галяновых, в каждом окошке по две рожицы – оттуда звенела балалайка.

Каждое утро бригадирша или бригадир, в сапогах и в сером брезентовом плаще с башлыком, с палкой в руке проходил в конец деревни по одному порядку, а возвращался по другому. Он звучно ударял палкой по наличнику и кричал по имени:

– Настена (Марья и т. д.) – наряд! – называл место работы и шел дальше.

Если же никто не отзывался, ударял еще и еще... И даже во время погоды, накинув на голову в виде башлыков мешки, бабы шли по наряду, покорные и послушные. И так изо дня в день – и даже по воскресеньям.

А когда ближе к престольному празднику выдали аванс в счет заработанных трудодней¹⁵, я видел, какие разгневанные и резкие несли бабы в мешках по 10–15 килограммов ржаной муки. Одна из них, как будто пьяная, шла посреди улицы и беспорядочно выкрикивала то в одну, то в другую сторону:

– Вот! Ироды аванец выдали! – при этом она поднимала мешок с мукой и встряхивала его так, что мучная пыль выбивалась сквозь мешковину. – Вот, за полгода заробила¹⁶ – попритчило бы вас!..¹⁷

На следующее утро бригадир как обычно ботал¹⁸ по наличникам, но на его позывные из большинства изб не отвечали...

¹⁵ Трудодень – норма трудового дня в колхозе, отмечалась «палочкой» в ведомости бригадира.

¹⁶ Заробила – заработала.

¹⁷ Попритчиться – случиться, приключиться, о беде, болезни; попритчило бы – недобрый посул, как если бы: чтобы ты заболел, чтобы тебе худо было. Характерно для Нижегородской области.

¹⁸ Ботать – стучать.

По грибы

Дождило, дождило, а в один час прояснилось! И солнце вновь припекало, и паром дышала земля. Как мила и непривычна была для меня вязкая влажная зелень живой природы, даже теперь, когда август уже переваливал на вторую половину. Земля так и представлялась живой: и ласкало босые ноги, и тепло исходило от земли, как от материнского тела. И даже не хотелось замечать унылую закрепошенность колхозной деревни...

– Парень! – окликнул Федя. – По грибы пойдешь ли?.. Парит... Милку провожу – и айда...

Вот и растерялся – ведь по грибы я не ходил ни разу!

– А куда пойдём? – наконец спросил, факт, не самое лучшее.

– Куда... В наш лес, чай, и пойдём – ещё-то некуда.

Федя стоял на лужайке перед домом и все поглядывал в наш конец деревни, откуда обычно приходило вечернее стадо. Я уже не раз видел, как, возвращаясь с пастьбы, первой в улицу выбегала из-под горы Федина коза Милка, а за ней ярочки. И Федя, щуря один глаз – оказалось, он у него плохо видит, – призывно кричал:

– Милка, Милочка... бари, бари, бари! – так он окликал овечек.

И они галопом бежали к нему, наверное, не только потому, что у него для них были припасены лакомые кусочки картофеля, поджаренные с солью, или что-нибудь другое. Со всех сторон они тыкали свои мордашки ему в руки, иногда вскидываясь на дыбки, и он гладил их и разговаривал с ними. Так гурьбой они и уходили во двор, где их уже ожидало немудреное пойло и где можно было, наконец, отдохнуть и похрупать на ночь приготовленные хозяином веники.

Утром под хлопки пастушьего кнута меня разбудила мама. Она уже протопила печь, и в избе вкусно пахло пенками тушенной с молоком картошки.

Так рано в деревне я еще не поднимался: солнце над лесом не появилось, но лучи его уже стерли с небосклона блеклые звездочки, позолотили его, и месяц своим упругим бледным парусом, казалось, пытался одолеть поток благодатных лучей. В избах напротив крайние окна полыхали печным пламенем, и, казалось, от этого печного пламени земля исходила струйками пара. Над Сурой и поймой рваными облачками пластался туман... победно прокричал Федин петух. Над головой трепетно пролетела стайка ласточек – и вслед им из куста бузины как будто засмеялись воробышки.

– Парень, нож не забудь!.. Стукни там Вите, а я Симке...

Но Симка и сам уже выкатился на крыльцо с припевочкой:

Всей деревней мы прошли,
А лучше Милки не нашли...

И вновь мы вместе: четверо – плечо к плечу. Они почему-то очень спешили, и я едва поспевал за ними, полагая, что по грибы так и ходят. Но когда вышли на взгорок к опушке леса, взмахивая корзинами, друзья мои торжествующе вдруг закричали: «Первые!». От дальнего конца деревни, через поле, наверное, тоже спешила стайка товарок. Оказывается, мы торжествовали потому, что первыми пройдем по грибному пути!

С этого дня, с этого места на опушке леса я и начал понимать, что значит – наш лес... Ведь для них лес – как изба, они знали его, казалось, по счету деревьев; знали где, когда и какой гриб растет; где много костяники, где малинник и земляника; где можно найти диких пчел и даже полакомиться медом; они не только знали, они и любили н а ш л е с, как любили и всю

окружающую их природу, и даже когда приходилось заниматься противозаконной порубкой на жерди, они умели выбрать такую осинку, которая лишь засоряла лес. Когда же по осени, на уборке урожая картофеля жгли костры, чтобы обогреться и испечь картошки, – вырубали только сухое или обреченное. Много пакости творят люди в лесу, но в н а ш е м лесу н а ш и х пакостников встречать не доводилось.

Лесовиком слыл Симка. И верно: не успели войти в лес, как Симка начал посвистывать, пощелкивать языком, и со всех сторон, казалось, ему в ответ посвистывали и пощелкивали птицы. Он и гриб-красноголовик нашел тотчас уже на опушке.

– В красной шапочке грибок мне в корзину – скок! – И засмеялся, обрезал ножку гриба, изучил его, прищурился, покрутил головой и решительно сказал: – Гриб чистый. Чаю, по гриве напрямик и пойдем, – он указал рукой направление, – тамотко света больше и тепла, тамотко и гриб. До лесного озера, а оттоля по дороге или назад – сколь наломаем.

Уже через минуту рядом не было ни Симки, ни Вити. А Федя сказал:

– Ты, парень, далеко не уходи – заблукаться. Аукаться станем... А друг за другом шастать негоже.

Я не ответил. Меня уже охватило грибным азартом, и в то же время благодарность Феде так и сдавила мне горло. Не прошли и двадцать шагов, как я нашел сразу три гриба рядом.

– Федя! – кричу. – Нашел! – И в обнимку с грибами к Феде. – Вот!

– Ну, парень! Три белых!.. Ехор-мохор, поглянь там еще – белые семьями сидят... Да не кричи зря, не рыскай, – проворчал Федя.

И я понял: зря не кричал и не бегал. И вскоре меня охватил такой азарт, что я вообще забыл, с кем пришел в лес.

Солнце уже поднялось над миром и текучими искрящимися лучами высвечивало ликующий лес. Крупные птицы, как цыплята, бегали и порхали по лесу. То слева, то справа куковала кукушка. Где-то рядом звучно долбил дятел. На листьях травы искрились капли росы – алмазная россыпь!

Я метался из стороны в сторону, боялся пропустить грибы. Но грибов попадалось почему-то мало. И я решил, что мои друзья, пожалуй, набрали уже по полкорзины. Огляделся – никого вокруг, тихо – и оробел.

– Федя! – пронзительно, во все горло закричал я.

– Чего ты? – неожиданно в нескольких десятках шагов от меня отозвался мой поводырь.

И я засмеялся – Федя рядом!

– Ты уже много набрал? – кричу ему.

– Много, полкорзины...

Измученный, я подбежал к нему – в его корзине было с десятков грибов.

– Ты что брешешь?

– А ты что блажишь? Ехор-мохор, зри! – и Федя точно у меня из-под ног поднял пузатенький гриб. – Ты, парень, не кричи. Не то ведь и грибов не наломаем... Разбегутся! – крикнул и пошел с корзиной на локте, степенный и хозяйственный мужичок.

Начал и я искать грибы: заглядывал под кусты, под ветви елей, осматривал со всех сторон кочки и пни, приседал под листья высокого папоротника – и гриб пошел. Как потом оказалось, я даже рыжиков несколько срезал, не догадываясь, что это за гриб! А уж как мне понравились лисички – глаза разбегаются! Кроме сыроежек и подосиновиков, вовсе не зная грибов, я клал в корзину все подряд. И светло и радостно было на душе, я даже не боялся заблудиться, хотя каждые несколько минут кричал:

– Э-гей!

– Ого! – отзывался невидимый Федя.

И вновь деревья, солнце, мокрые ботинки и грибы на тонких и на толстых ножках. И в какой-то момент я понял, что я счастливый... И потекло, потекло в солнечных лучах время – время леса, время счастья... Здесь не было зла – и это, оказалось, счастье.

Корзина тяжелела, становилась неудобной. И когда мы вышли к озеру, точнее – к лесному озерку, по краям покрытому ряской и листьями кувшинок, у Федя была почти полная корзина грибов, но и у меня – больше половины.

– Си-ма! – сложив ладони рупором, закричал Федя в одну, а затем в другую сторону. Никто не отзывался. И тогда мы вместе закричали:

– Си-ма! Ви-тя!..

И металось из края в край эхо: «Ма-а-ма... тя-тя-тя!». И скоро в ответ донеслось:

– О-го-го! – и тоже в два голоса.

– Идут, вместе... Елдыжный бабай, сожрут! – Федя шлепнул себя по лицу ладонью – и кровавое пятнышко осталось на щеке.

В полдень мы вышли из леса, усталые, с тяжелыми корзинами, но ведь и Смольки были рядом – вот они, соломенные крыши...

Мякина

«Тук-тук-тук, тук-тук-тук!» – глухой этот стук слышно было в любом конце деревни.

– Это что, а? – спросил я у Вити; с ведрами на коромысле он шел по воду на ключ.

– Что-что? – мыкнул в ответ и уставился как на новые ворота.

– Стучит, говорю, что? – выкрикнул я.

– Обмолот. Молотилка стучит. – И пошел дальше, пояснив: – Ручная, конная изломалась.

В это же время с кудахтаньем из-под Фединога моста вылетела встрепанная курица. Следом за ней оттуда же выбрался и Федя.

– Во, тепленькие! – с довольной улыбкой Федя поднял в руке сложенную кепку. Я знал, что в кепке у него тепленькие яички. – Вот и скопили, можно нести сдавать налог, – пояснил он. – Теперича сами будем есть.

А с противоположной стороны Симка полоротый пропел:

Привели меня на суд,
А я стою трясуся.
Присудили сто яиц,
А я и не несуся...

Сестрица Федина, большеглазая Манечка, осторожно подступила к брату: дергала его за подол рубахи и негромко канючила:

– Федя, Федь, свари коко...

Мне показалось, Федя с осуждением глянул на сестру, однако улыбнулся и кивнул в знак согласия. А Симка уже наярывал:

Мамка Катя, дай кусочек,
Братка Федя, дай коко!
Не то вырасту большая,
Выйду замуж далеко!..

– Парень! – окликнул Федя. – Айда с нами на ригу¹⁹ – по мякину²⁰, с корытом... Сварю Манечке коко – и пойдем.

Рига или ток – кто как назовет. Теперь-то я понимаю, что никакая не рига, а на столбах большущий навес, покрытый соломой, даже без сушил. В одном конце гора снопов, а в другом – две молотилки: конная и ручная. Земля утоптана – как асфальт! – сухая и хорошо выметенная. Вот и вся премудрость – ток.

Конная изломана, ручная, наверное, скоро должна изломаться, поэтому и стучит. Но Федя сказал, что она и в летошнем году стучала... Когда мы пришли на ток, обмолот шел вовсю. Те, кто работал на молотилке, были в очках, с завязанными марлей лицами: четыре бабы за две ручки крутили молотилку; две – деревянными лопатами отгребали в кучу намолоченное зерно; две граблями метали солому в стожки – и петель на лошади уволакивали к скирдам.

А за разделочным столом стоял когда-то, видать, крепкий, семижильный мужик, вместо правой ноги у него торчала деревянная «бутыль», притянутая к боку ремнем. Он легко и ловко принимал снопы, рассекал вязки ножом и, разбрасывая по железному столу, подталкивал и направлял необмолоченный хлеб на обмолот. И тогда молотилка начинала завывать – и кру-

¹⁹ Рига – сарай для сушки снопов и молотбы.

²⁰ Мякина – вымолоченный колос, без зерен.

тить за ручки становилось тяжело... А все остальные подносили снопы. После отдыха бабы менялись местами.

И еще двое мужчин были на току: председатель колхоза Давыдов, молодой мордатый мужик – он стоял в стороне, наблюдал за работой; и кладовщик преклонных лет, Иван Петрович, с книгой учета и с ключами в руках. Он стоял возле десятиричных весов, на которых стопкой лежали сложенные пустые мешки. Иван Петрович часто закрывал глаза и морщился.

Витя с Симкой договорились с председателем, что будут вдвоем подносить снопы, а им за это по мешку мякины. И Семен согласился. Они нашли от деревянных грабель круглую палку, палкой этой пронизывали сноп под вязку и несли его на плечах к молотилке. Там мужик с деревянной ногой подхватывал сноп, бросал его на стол, а сам, казалось мне, начинался пороховой яростью: как будто саблей с плеча, ударял широким ножом по вязке!

Так и шло: машина стучала, и облаком над ней поднималась пыль и мелкая полова²¹. Налетит ветерок – кладовщик глаза замуривает, а председатель сложенной «Правдой» закрывает лицо.

– Ты, чай, глаза не тараци – остяк²² попадет!.. Щас спрошу! – крикнул на ухо Федя.

С ним мы обо всем заранее договорились, знали, что делать. И когда молотилка затихла на перекур, Федя и подкатился к кладовщику:

– Петрович, мякины нагребем?

– Мякину и коровам запарим, – лениво или нехотя ответил Петрович. – А это чей? – он кивнул в мою сторону.

– Это? А это сливача сын, соседushка мой.

– Что ли, и ему мякины?

– Нет, со мной – помогчи... Петрович, нагребем? – И Федя сосредоточенно ввинтил указательный палец себе под нос. Вид у него стал дурковатый. – Как, Петрович?

– Да никак. – Петрович отмахнулся. – Вон за два мешка снопы подносят.

– Неколи мне. Мамка по наряду ушла... Всего-то мешок картофельный – ярочка легла. Кнутом, чай, и зашибли – вот и легла. Я ей и запарю, куда лежит...

Петрович скосил на Федьку глаза и усмехнулся:

– Не иначе в Ивана уродился.

– В кого еще-то, чай, он тятенька мой!

– Ладно, сгребите с краешка – на кучу не лезьте.

– С краешка, Петрович, с краешка, – согласился Федя и позвал меня кивком головы.

В это время вновь застучала молотилка. Мы и не думали сгребать мякину «с краешка»: подступили к куче и начали неторопливо пригоршнями загружать мякину в большой, почти сенной мешок. Федя присел так, что председателю с другой стороны его и вовсе не было видно, зато с Петровичем – лицом к лицу. Орудовал Федя совком, таким из поддувала в подтопке золу достают: и вот как только набегал ветерок и Петрович закрывал глаза, Федя мгновенно разворачивался, запускал совок под кучу зерна и сыпал в мешок с мякиной. Иногда он успевал дважды обернуться. Я же тем временем взметывал рукой половику... Вся операция с мякиной продолжалась до очередного перекура. Наконец Федя сунул совок в мешок, мы ухватились за его углы и потянули, оказалось, тяжелую мякину – подальше от тока, с глаз долой.

За скирдой соломы нами было оставлено старое корыто с поводком-веревкой. Здесь мы быстро завязали углы мешка, завалили его в корыто и потянули по задворкам к дому.

– Ну, ехор-мохор, гоже нагребли! – отплеываясь от полови, восторгался Федя. – Нам только до усада, там и отдохнем... А ты чего сощурился?

Я не только сощурился, я и глаза открыть не мог: и больно, и слезы текли.

²¹ Полова – шелуха от зерен.

²² Остяк, остяна – щетина на колосе.

– Попало что-то, – говорю.

А Федя так и вскипел:

– Баил же тебе: не таращись! Вот и дотарашился – остяна и влетела. Бельмо хошь!.. Побудь туточки – я мигом! – И бегом к ближайшей избе. Скоро и возвратился с ковшом воды. – Давай, парень, – приказывал он, и я безоговорочно подчинялся, – суй глаза в воду – и моргай, моргай... Не вышло? Все одно колет?.. Садись на мешок, расщеперивай пальцами глаз – шире, шире... Я сейчас языком тебе...

Сначала Федя сопел мне жаром в лицо, потом он взялся руками за мою голову и ловко обшарил кончиком языка мой глаз – еще и еще...

– Вот, нашёл – остя. – Федя отплеывался в сторону. – Давай, умывай глаза – полью...

И уже тогда я понял, что глаз мой чист.

Мы отдыхали на мешке с мякиной, и друг мой все отвечал и отвечал на мои бесконечные вопросы:

– Зачем они на току... Чай, следят! И Семен, и Петрович – одна и следят, чтобы хлеб не понесли... У них в один день и сдача поставки – к вечеру из района и машина прикатит... Видел весы? В мешок лопатами, на весы – и в машину. Петрович только крестики для счета в тетрадку ставит. В заготзерно и увезут. А завтра сызнава. Обмолот закончится – и подчистую, метлой соберут... А мякина – это так, немощным коровам запарят, да в счет трудодней могут дать... А зимой в хлеб гоже. У меня, чаю, полмешка клеверной муки запасено, вот и это – высушить только. Мамка зимой драники испекет – и похрумкаем... А на хлеб замочит это в корчаге, в печи попарит, а потом через мясорубку и прокрутит, добавит две жмени клевера да жмену муки, ежели дадут на трудодни, – все это в квашонку и закваски туда. И пекчи. За ушами трещит – погоду, вознагражу! Вот только в горле скрывает, дерет, почему и драники... Баба пашет, а ест из полови кашу! – Федя засмеялся. – Мамка говорит: «Бог терпел и нам велел»...

Неделю стучала на току молотилка. И еще дважды мы с Федей ходили с корытом за мякиной: раз привезли, второй раз «огоревали», – так почему-то определил Федя.

Настя Курбатова всякий раз, уложив на железный стол принесенный сноп, прихватывала из кучи в руку зерен и сыпала себе в карман мужского пиджака: достанет на ходу из кармана зерен, сдует с ладони половину – и в рот. Так и жует на ходу, так и жует. Пройдет по кругу – и опять зерен в карман... Петрович как будто не обращал на это внимания, а председатель Семен так и косил глаза вслед Насте. Наконец не выдержал и во время перерыва грозно сказал:

– Ты что, как жвачная корова! Выверни, говорю, карманы, и не смей этого делать. Не смей! – И сложенной газетой по ладони прихлопнул.

Настя медленно повернулась к председателю. Была она, помнится, рослая и исхудавшая, а на лице морщины как будто затвердели. Вытерла двумя пальцами – большим и указательным – обвисшие уголки рта и сказала:

– Молотящему-то волу, чай, в рот не заглядывают... Ты лучше бы велел хоть сочиво сделать да накормить – тогда бы и шлепал газетой. – И уже было пошла, но задержалась: – Или сызнава, как во время коллективизации: хлеб на мякину меняешь?

Говорила она осипши и без нажима, хотя на лице отражались негодование и гнев... Однако распалился и председатель Семен: лицо его сделалось гневным – и он выкрикнул, наверное, вне себя:

– Тебе говорю: выверни карманы! Государственное добро ворует!

– Не лай-ко, не лай... Нам уж и так все едино: что хлеб, что мякина – лишь бы утробы набить. Вон и сирота за мякиной пришел, а тятенька-то евонный на фронтах лег. – И вдруг лицо ее обескровело, Настя сволокла с головы платок и плюнула в сторону председателя. – Кобель приبلудный – погибели на вас нету, иуды! – И вывернула из кармана зерно: – Это не

твой хлеб, это мой хлеб! Враг! – И с размаха ударила пригоршней зерен в лицо председателю Семену.

И вокруг все молчали, и отводили глаза, и председатель, казалось бы, понял, что Настя Курбатова победила. И тогда сквозь зубы Семен пригрозил:

– Под суд упеку, – сплюнул желчно и повторил: – Упеку...

– Знамо дело, упекуешь... за колоски Дуняшу уpek, вражина. Вот и батрачь сам. – Остатки зерен из кармана Настя бросила в мякину и пошла, покачиваясь, в сторону деревни, домой.

В минутной тишине слышно было, как щелкнула сорвавшаяся резинка, это мужик на деревянной ноге стянул с головы очки. Он бросил их на стол и, не сказав ни слова, пошел следом за Настей, дальше обычного откидывая на сторону деревяшку.

– Дак что же это, бабы, деется?!

– Взял бы кнут да охаживал...

– Гляделки-то обморозил, попритчило бы...

– Мужиков наших извели – и заступить некому...

И бабы все разом загудели, запричитали, заплакали; и все враз, как по команде, начали стаскивать с себя фартуки и головные платки, осеянные половой.

– Да подавись ты своими трудоднями! Айда, бабы, домой...

И пошли.

И только бригадирша, казалось, покорно оставалась рядом с председателем.

– Я разберусь с ними, – затянувшись круто табаком, сказал Семен. – А если не выйдут после обеда, сними людей со свеклы, но чтобы обмолот шел. Я их проучу...

– Не стражай, Давыдов. Бабы-то правы: ноги отекают, а впереди зима. Хоть бы зерном по полмешка выдал – на кашу...

– И ты туда же! – председатель раздавил каблуком окурочек. – Петрович, будь здесь, я в райком – до вечера. В любом случае – отгружайте...

Федя тянул пустое корыто и, широко раскрыв глаза, немо плакал. Я не спрашивал его, почему он плачет – мне и самому хотелось плакать: жаль было Настю и Федю, и себя – тоже.

Председатели

Председатели колхоза в Смольках долго не задерживались. Их почему-то меняли каждый год, а то и в году дважды. И новых все со стороны присылали: так постоянно в райкоме партии и утверждали председателей колхозов – точно колоду карт тасовали. Чтобы не привыкли, не сжились, чтобы вечно чужие – есть на кого и сослаться, огрехи свалить. И жили председатели смольковские обычно в городе, правда, и в деревне для них дом был определен – пятистенник раскулаченного и сгинувшего со всей семьей Ивана Бутнякова. Но в доме этом председатели лишь принимали гостей да уполномоченных; изредка и сами ночевали – во время погоды. Но председатель Семен жил в доме постоянно.

Направили его в Смольки до посевной. Правда, в сельском хозяйстве он мало смыслил, если и поучал, то нелепо. Главной заботой его было – заставить всех изо дня в день работать, а всю произведенную продукцию вывезти в счет государственных поставок, чтобы по возможности перевыполнить план. Меру кнута без пряника проводил председатель Семен – и в этом изоощрялся день ото дня.

Машины в колхозе тогда не было. Летом председатель ездил в двуколке, зимой – в высокой кошовке²³. Конь в упряжке завидный, орловской породы. С зашоренными глазами, был он пуглив и яр. Зато двенадцать верст в район отмахивал без передышки, только селезенка ёкала. Орлик как будто и на месте не мог стоять, и, видя его пляшущим, люди без злобы нередко говорили: «Вот уж воистину: рабочий конь на соломе, а пустопляс – на овсе... Зато хорош!»

Витя не любил Орлика, и когда его просили искупать коня в Суре, он отказывался.

²³ Кошовка – легкие саночки с плетеным сиденьем.

Престольный праздник

О престольном празднике говорили все. Но сколько я ни пытал своих домашних, сколько ни тряс друзей: «Что это за праздник, в честь чего?» – толком мне этого никто объяснить не мог. Престол – праздник Смольков, значит, драться стенка на стенку с ратунинскими, даже кольями и цепями... Вот и все. И Витя посоветовал:

– А ты у Мамки спроси, она, чай, все знает...

И мы дождались, когда Мамка со стола посуду убрала на кухонную лавку; выдвинула на ухвате из печи тяжелый чугунок с горячей водой; быстро в тазике вымыла и протерла посуду; все убрала и расставила по местам и, наконец, сняла с себя фартук, перекрестилась на икону – и неожиданно для нас спросила:

– Чего молчите? Хотите что-то спросить? Спрашивайте.

– Я-то ничего, это он. – И Федя предательски кивнул в мою сторону. Я и рот раскрыл от неожиданности.

Мамка вздохнула и, как будто чужая в доме, осторожно присела на край скамейки и ладони положила на сиденье.

– Да вот, значит, – начал я заикаться, – Престол – это что за праздник? В честь чего такой праздник – Престол? Спрашиваю – никто не говорит.

Она прикрыла глаза и вновь перекрестилась.

– Вот ведь как, до чего дожили – иконы в избах, а веры нет, ушла. Господи, прости нас грешных... В алтаре церковном есть специальный стол, на котором священник готовит Таинство Евхаристии, и называется этот стол Престолом. Правильнее говорить не престол, а престольный праздник. Наш храм был посвящен Успению Пресвятой Богородицы – день 28 августа. Это и есть наш престольный праздник, потому что в Смольках эта церковь. Бывало, в этот день все наши прихожане на работу не ходили, шли с утра в храм на службу, а днем отдыхали, ходили в гости друг к другу...

– А зачем же стенка на стенку, кольями дерутся зачем – или так положено? – Для меня это было удивительное открытие: церковь – и драка кольями!

– Оно и понятно, – согласилась Мамка, – храм закрыт, Бога нет, каяться не надо. И не знают, ради чего самогона напьются, а бес тут как тут – и потешается. Люди и колотят друг друга. А по истине – это церковный праздник, и никаких тут драк быть не должно...

Праздничность заметна была с утра. Припозднившийся нарядчик не стучал по наличникам, хотя палка была при нем... А когда солнышко пригрело, дети выкатились под небо причесанные, в выглаженных платьях и сорочках, обутые. И все, похоже, стыдились своей неловкости в праздничном наряде. И только Симка, в вышитой сорочке, подпоясанный плетеным пояском с кистями, неловкости не переживал. Он вышел с балалайкой на скамейку под окна и тотчас запел голосисто:

Задумчивые товарищи
Приехали домой!..
На родимой на сторонке
Нынче праздник годовой...

И тотчас к нему высыпали все младшие Галяновы.

И Федя, в праздничном не похожий на себя, поблескивая маслянистыми волосами, выкатился на крылечко и солидно подбоченился. Манечка уже бежала через улицу к своим подружкам, такая нарядная в ситцевом платьице... И только я был по-будничному сер – наша семья жила без праздников.

– Парень! А Мамка пирог с-луком-с-яйцами испекла! – похвалился Федя. – Айда к Галяновым!

И мы пошли к Симке на скамейку – здесь всегда можно было погостевать, попоколачиваться.

Припою припевку я:
Ко мне идут мои друзья!
Только вот опять беда —
На столе одна вода!
Я водой вас напою
И припевку допою:
Развеселая беда —
На столе одна вода!

Приехали на престол из города и соседних деревень родные и сродники. Городские и одеты получше, и выглядели не настолько униженными. Взявшись под руки, они прогуливались по улице – давно не бывали, а ничего не изменилось, правда, домов нежилых прибавилось...

Сначала за стол усадили детей, чтобы тесноты не было. И мы должны были сесть, но Федя шепнул мне на ухо:

– Айда, парень, к нам – туточки и без нас вдосталь... Мамка напекла, а сродников, чай, одна Настя с Гришкой и придут.

Так и оказалось: у Феди в избе было тихо. Манечка в передней играла с Гришей, а Мамка с Настей сидели в горнице возле стола. Сидели они не по-праздничному, а как-то навтыжку, рядом обе-две. На круглом раздвинутом столе под старенькой скатеркой стояли две глиняных обливных миски с десятком деревянных ложек со съеденной росписью. Посреди стола на разделочной доске лежал поджаристый черный пирог-кулебяка. Здесь же миска с малосольными огурцами. И салат из зелени с яйцом со сметаной. На подставке пузатенький пожелтевший от времени графинчик и семь стопок вокруг, столько из близкой родни не досчитались они за годы войны.

– Тетка Настя, с праздником! – заглядывая в горницу, поздравил Федя.

– И тебя, Феденька, с праздником.

– Вот мой хозяин, – с улыбкой сказала Мамка и поднялась, чтобы накормить обедом. – Мойте руки – и к столу...

И случилось то, чего я больше всего боялся... Мамка налила в две глиняных миски щей – побольше миску для детей, поменьше – для себя и для Насти, разрешила пирог, разложила каждому по большому куску, поторопили Манечку с Гришей – и все обратились лицом к иконе помолиться.

Перед иконой Божией Матери с Младенцем горела лампадка.... Страху не было, но сковала обоюдная совесть, так что уши пылали жаром, а вокруг носа выступил пот. Стыдно за себя – как я могу стоять перед иконой без крещения и без веры в Бога?! Ведь и в школе и по радио говорили и говорят, что Бога нет, что Бога выдумали – и это, наверное, так! А они *сейчас* будут молиться – стыдно и за них! И еще стыдно, что я, не имеющий такого права, буду присутствовать при этом – как жулик или шпион!.. Я опустил голову, зажмурился и в каком-то животном изнеможении впервые в жизни выслушал молитвы, которые читала Мамка тихим и как будто печальным голосом. Из всех слов на всю жизнь запомнились слова «Милосердия двери отверзи нам, Благословенная Богородица...»

После молитвы все продолжали жить своей прежней жизнью, будто ничего и не произошло. А я был связан, пленен – таким до конца и оставался в гостях у Феди.

А между тем мы быстро управились со щами, с салатом и пирогом; Мамка же с Настей вовсе не ели: налив во все стопки самогона, они негромко разговаривали друг с другом:

– Открыть-то, может, и откроют, да только нас уже не будет, а живым понадобится ли...

– Да и у нас теперь одно суеверие, ухайдокали... Мне бы Валю удачно выдать, а с Гришей уж вековать. Старшой, чаю, не возвернется.

– И Гриша поднимется.

– Квеленький он, вот что...

– Даст Бог – выправится. Причащать бы надо...

– Кого там, сами не причащаемся... Вот и казнит нас Господь.

– Настя, Настя, сами себя и казним. За свои грехи и расхлебываемся.

– За какие грехи, когда форменное иго – рабство и есть!

Мамка приложила палец к губам и кивнула в нашу сторону.

– Ничего, пушай и они знают – и для них уготовано... Судить Семен грозит. А что, и засудят – как за колоски.

– Бог не выдаст, свинья не съест.

– А я все думаю, а зрит ли Матерь Божия наши мытарства?

– Зрит, зрит... Вон ведь жертвы сколько. – И вздохнула, и кивнула на стопки нетронутые, шесть и одна в сторонке – Федина мама...

Перебирая лады, за окном как будто очнулась гармонь – это уже старший брат Симки развел мехи. Мы так и вздернулись из-за стола.

– И то ладно, хоть не унывают, – Мамка болезненно усмехнулась. – А ведь у нее шестеро.

Симка – щедрый: он разломил подсолнух и дал нам с Федей по большому куску – скамейка под окнами была занята, и все с удовольствием лузгали семена. А из открытых окон выплескивалась гармонь: и бабьи голоса без задора, как будто даже с ленцой тянули то «Хасбулат удалой», то «Меж крутых бережков», то вдруг «Скакал казак через долину». Звякала посуда, гудели голоса, и кто-то то ли плакал, то ли смеялся... Любопытно – что там? И я вскакивал со скамьи и заглядывал в открытое окно, но, кроме Симкиного старшего брата, никого не мог разглядеть: склонив на гармонь ухо, он без устали играл и играл – в Смольках все говорили, что играет Вася что надо...

Сначала я не понял, что изменилось, что произошло: как будто просквозил далекий короткий стон, болезненный и пронзительный, и низкий залежный голос без надрыва и натуги повел: «Э-э-э-эх...»

И как будто в один миг все стихло: гармонь угасла, голоса угасли, а Федя, щуря свой глаз и потряхивая головой, восторженно шепнул:

– Настя поет...

«Э-э-э-х, летят утки, летят утки и два – а-а г-у-у-ся». И с надорванностью, со стоном просквозило это пронзительное: «Э-эх, кого люблю, кого люблю – не дожуся...». И всхлипывала у нас за спиной Симкина маманя, Надя, и вздохнула с подголоском: «Не дождемся». И чудилось, со всех сторон лилась Настина песня: «Э-э-эх, теперь его, теперь его не воротишь...». Это была вовсе и не песня, это был стон и плач погибающего, не одного человека, а, наверное, всей деревни, а может быть, и всей России. И когда Настя пела: «Э-э-эх, глазки смотрят, глазки смотрят, а слезы льются», – у Галяновых в избе бабы уже ревели...

Не понимая, что хочу и что делаю, я вскочил со скамьи и побежал к Фединому дому: мне надо было увидеть, я не верил, что это поет Настя своим вечно осипшим голосом. И я заглянул в окно: она сидела на прежнем месте, как будто уронив на колени тяжелые, неподъемные руки; голова ее была чуточку запрокинута, глаза закрыты – и последний долгий звук еще исходил из ее неподвижных губ...

Песня эта, этот голос и эти слезы до сих пор оседают в моей душе.

Люди говорили, что в 1945 году престольный праздник в Смольках был особенный – без драк, без стояния на Суре.

А еще говорили, что в этот вечер возле оскверненной церкви было привидение: две женщины в черном со свечками пели Богородичные молитвы.

Колхозники

Смольковская школа размещалась удобно и красиво: пониже сельских домов и повыше пойменных лугов – на взлете. Наверно, это была не специально построенная школа, а богатый дом, приспособленный под школу. В одной половине жила заведующая школой Наталья Николаевна, там же где-то ютилась и молодая учительница, Галина Викторовна. А во второй половине – две проходных классных комнаты с длинными черными столами и с такими же длинными скамейками. В одной комнате первый и третий классы, в смежной – второй и четвертый. При школе были хозяйственные пристройки и ворота, за которые школьники не лезли, и большой земельный участок – вниз до поймы.

Нас собрали 31 августа, чтобы проверить по списку и выдать учебники. И мы, наверно, целый час толкались возле школы. В нашем конце деревни я уже не был чужим, но собрались четвероклассники отовсюду – и как будто вновь стал чужим. Каждый норовил задеть. Пришлось еще разок подраться, но это меня совсем не огорчило, ведь рядом были друзья.

Во втором и четвертом классах в том году учительницей была Наталья Николаевна, старая и, как мне показалось, добрая и не похожая на учительницу, а так, на чью-то бабушку. Но уже до начала занятий я заметил, что между четвероклассниками и учительницей пролегает невидимая отчужденность... Уроки проводила она строго и заданно. В памяти залегло, что Наталья Николаевна заставляла нас красиво писать, учить таблицу умножения до пятнадцати; запомнились хороводные игры и песенки на пришкольной лужайке и то, с каким восторгом она учила нас петь и сама пела песни о коллективизации и о жестокости кулаков: «Прокати нас, Петруша, на тракторе...».

В деревне Наталья Николаевна знала всех по именам – и ее знали все; занималась она и своим хозяйством – был у нее огород на пришкольном участке и сад, где даже стояло несколько ульев. Когда я спросил у Феде:

– А училка-то как, хорошая? – он перекосясь и без пояснений ответил:

– А-а-а, колхозница.

Она мне действительно представлялась колхозницей. Полная, огруженная, в фартуке, то она несла молоко в стеклянной банке, то какие-нибудь овощи в корзине – и не подумаешь, что учительница.

Когда мы вышли из школы, по лужайке взад-вперед прохаживался мужчина в осеннем пальто и в фуражке – и это в августе! Через каждые пять-шесть шагов он останавливался, и тогда слышно было, как дышит он с хриплым посвистом; а то начинал кашлять – и тогда тоже останавливался и доставал из кармана пальто скомканный носовой платок. Я уже не раз видел его здесь, но только теперь спросил у Феде:

– А это что там за мужик кхекает?

И опять ответ был непонятный:

– Вася Щипаный... колхозник... муж Натальи Николаевны.

И только потом я узнал, что значит «колхозница», «колхозник» и «щипаный».

Колхозники потому, что давным-давно они были присланы и организовывали в Смольках колхоз, участвовали в коллективизации и раскулачивании, а Василий Петрович был лет восемь председателем колхоза «Заря коммунизма». Теперь по отчеству никто его не звал – Вася Щипаный.

– Какая фамилия?! Щипаный! Потому как всех в Смольках защипал и ощипал. Вот его и попритчило – в горку подняться не может! То ли чахотка, то ли жаба в груди, то ли еще что...

А когда утром я зашел за Федей в школу, мой друг сосредоточенно пришивал нательный крестик к рубашке с внутренней стороны. На вопрос, зачем он это делает, Федя вытаращил глаза и выкрикнул:

– Парень! Да ты знаешь, колхозница увидит – вместе с головой сорвет и из школы вытрит!

Бабье лето

Вот и началось бабье лето. Почему бабье? Да говорят, что к этому времени все дела летние завершены, так что и сельские бабы могут отдохнуть. Вот уж – никак! Домашняя страда! Да ведь и картошка еще в земле, и морковь, и свекла. Все это надо убрать, заложить на зиму. Да еще погода. Ведренно – все будет ладно, с Божией помощью. А уж если затяжная хлябь – жди тогда светлые денечки.

Ночью холодало. Дули ветры. Солнце бледнело и как будто рассеивалось. Как ранняя проседь, на деревьях появились желтые и оранжевые листья и ветви. И трава под ногами пожухла, полегла. У кого были силы и поджимала нужда, перекрывали крыши свежей соломой. И странно было видеть, что на крыши, чаще всего до революции покрытые тесом или дранкой, трезубыми навильниками взметывали солому, натаскивали на конек связанные жерди и прижимали настил. Текла крыша, а положил солому – дранка и вовсе сопреет, без соломы уже не обойдешься. А перекрыть тесом или дранкой и не на что, и некому – мужиков нет. И дровами надо бы запастись на зиму. Вот и подумаешь, не для забот ли бабье лето, как правило, ведренная погода.

«Картошкина страда»

В эту пору все старались увильнуть от колхозного наряда, а то и прямо отказывались идти на работу, хотя и за это могли отдать под суд. Но ведь, наверное, понимали все: в колхозе «палочек» лишишься, а дома – на зиму прожитка. И как только солнышко глянет на бабье лето, так и начинается в деревне «картошкина страда»: и тут уж все в деле – и мал, и стар. Кто скоро управится, помогают немощным сродникам. Картошки много, по тридцать – сорок мешков в доброе лето. И эти тридцать – сорок мешков сначала надо выкопать, выбрать, потом перенести или перевезти на тележке под окна к дому, высушить и уже только высохшую ссыпать через отдушину в подполье. И это ещё не всё: десять – двенадцать мешков картошки обычно закапывали в яму с тем, чтобы разгрузить подполье и лучше сохранить до весны... Легко представить, если на усаде Мамка с Федей и первоклассница Манечка. Понятно, даже тридцать мешков картошки им и на три зимы хватит. Но ведь картошку ели и курочки, и Милка, а у кого-то корова или поросенок, да и в счет налога сдавали обычно пять – семь мешков. А то и в город на рынок отвезти на обувь и одежку детям. Вот и вся картошка – до новой не хватит. И уж не дай бог, если в яме картошку с осени зальет водой.

В один день в школу никто из моих друзей не пошел; я покрутился от дома к дому – отнес сумку к себе и переоделся во все домашнее... На картошку, как на праздник, Галяновы вышли все. Кто с вилами, кто с «царапками», кто с ведрами – и уже через полчаса повезли и понесли картошку под окна на вытопанную лужайку. Поначалу смеялись, шутили, хвалили урожай – картошка «лорх»²⁴.

Эх, картошечка, картошка,
И какая ж тебе честь!
Если б не было картошки,
Что бы стали есть?!

И костерок на весь день развели, чтобы весь мусор сжигать и чтобы младшие в золе «картоху пекарили»...

И у Петровых на усаде только свои: Витя вилами выворачивает пожухшие кусты; мать-Аннушка встряхивала куст за ботву, сноровисто царапкой выискивала в земле картошку, а младшие молчком-сапком собирали картошку в ведро. Все складно, хотя и не так расторопно.

– Пойду Феде подмогну.

Витя кивнул в знак согласия, но даже вилы из рук не выпустил.

– И ты, этта, в школу не пошел? – встретил меня Федя. – И правильно сделал – тамотко, кто придет – помогать Наталье. И в летошнем году так было.

Здесь вилами орудовала Мамка, а Федя – царапкой. Манечка пыталась помогать, но у нее ничего не получалось. И я присел рядом с ней выбирать картошку.

– Сергей-воробей, ты пришел мне помогать?

– Тебе, – говорю, – Манечка.

– Ага, я, буди, схожу водицы испить.

– Взвару из яблок и испей, – сказал Федя. – И нам принеси в кашнике²⁵ – да не забудь.

– Чай, уж припомню, – капризно ответила Манечка.

– Забудет, как пить дать, забудет, – без гнева проворчал Федя.

²⁴ Лорх – сорт картофеля селекционера Лорха А.Г.

²⁵ Кашник – глиняный горшок для каши; кринка.

Иван воскрес

И верно: забыла нас Манечка – нет и нет...

Мамка с Федей надумали копать картошку с дальнего конца усада, чтобы когда придет усталость – было бы легче управляться. Мы уже выбрали четыре или пять рядов, и Мамка сама собиралась сходить за взваром, когда из-за двора с непонятным криком выбежала Манечка. Она бежала по тропе между усадями и беспорядочно размахивала руками.

– Господи, что ли, беда? – Мамка вытерла о фартук руки и перекрестилась. – Господи, помилуй...

– Да не беда, взвар, поди, опрокинула или кашник грохнула, – проворчал Федя.

Однако все мы с картошки вышли на тропу. Манечка не добежала до нас – задыхнулась – и захлебисто начала вскрикивать:

– А тетка Катя... прибегла Бутнякова... грит Аннушке... тятенька Витькин возвратился... у мамы-старенькой... как побегли все, как побегли... что, чай, и будет!..

– Что ли, Иван Петров? Да окстись, Манечка, на него в сорок четвертом похоронка была.

– Катя Бутнякова грит: во ей Бо! И побегли...

– Господи, неужто такое...

– Витька! – закричал Федя и неуклюже загребая расхлябанной обувью, побежал к дому.

Когда мы выскочили на улицу, никто никуда не бежал, но зато все Галяновы сгруппировались возле своего дома и смотрели в дальний конец деревни.

– Айда к Витьке! – И мы побежали.

Но на усаде Петровых никого не было. Все брошено в беспорядке – и никого.

– Айда к Петровой-старенькой!

Федя был встрепан, как воробей из трубы. Пробегая мимо своего дома, прямо с ноги запустил он свою обутку к завалине. В это время из-за двора вышла Мамка и тоже стала смотреть в глубь деревни из-под руки. И, похоже, никто и помыслить не хотел, что это может быть обманом или ошибкой. Видя, что мы побежали на встречу, и Симка припустился догонять нас.

Чем дальше мы бежали, тем чаще бабы стояли у домов... И вдруг, как из-под земли! – вот они, Петровы! И мне почудилось, что древний богатырь Добрыня идет навстречу! Все вокруг были ему по грудь! Широкий, с серыми от проседи усами, он держал на одной руке и на другой младших сыновей и целовал в головы то одного, то другого. Витя шел рядом в пилотке со звездой, а в руках нес большую серую шинель. Справа, рядом с сыном, шла его мать, мама-старенькая, а с другой стороны Аннушка держалась рукой за широкий солдатский ремень на гимнастерке. Следом табуном тянулись солдатки-вдовы, а вокруг скакали ребятишки, заглядывая богатырю в лицо.

Все как будто не могли опомниться и понять, что произошло: всхлипывали, вскрикивали, и только Аннушка каждые несколько шагов, как будто безумец, хваталась за голову, отчаянно вскрикивала: «Ваня мой!» – и валилась Ивану в ноги, обхватывала руками и целовала его пыльные сапоги. И такое повторялось до тех пор, пока другие бабы не догадались взять Аннушку под руки, но и тогда она сотрясалась и вскрикивала:

– Ваня мой!

И от домов с недоумением и возгласами сходились и сходились бабы. И вдруг всех поразили сильный мужской голос:

– Ты ли, Иван! Петров! Восьмой! – на все Смольки до Лисьего оврага выкрикивал мужик с деревянной ногой. Он спешил и неловко вскидывал на сторону тяжелую деревяшку. И опустил Иван детей на землю и хрипло обронил:

– Миша! – И они обнялись, и оба плакали, содрогались плечи, и бабы вокруг плакали навзрыд...

Как воскресший, шел по родной деревне, и с обоих порядков от изб спешили к нему, чтобы удостовериться, прикоснуться – и убедиться: Иван Петров – живой.

И подходили бабы и шли следом: иная с блюдом малосольных огурцов, иная с тарелкой холодца, иная с кулебякой, иная с десятком яиц, а иная с посудиною самогона – вот так Иван, да к Бабьему лету!

– Господи, а может, и наш придет...

– А наш-то и вовсе – без вести пропал...

И никто не слушал друг друга.

– Тятенька, – всхлипывал Федя о своем погибшем отце, и из широко открытых его глаз выкатывались крупные слезы.

За полночь у Петровых в избе играла гармонь; захмелев, бабы пели и плакали. А Иван восседал в переднем углу, как живая икона. И никто не знал и не узнает, из какого ада он воскрес – и какой Ангел довел его до родного порога...

В деревне только и говорили об Иване Петрове. А он, уставший воевать, несколько дней даже из избы не выходил – и своих не выпускал: посадит рядом и любитесь ими. Скажет Аннушка:

– Ваня, чай, картошку надо бы убрать.

А он только посмеивается:

– Управимся, мать! Ты поглянь, какие у нас мужики... Погодь, свыкнусь.

И свыкся. В один день поднялся ни свет ни заря, а на другой день и усад граблями разровнял. И приходили посмотреть соседи, как Иван картошку носит: ухватит два куля за мешковину и несет, будто ведра с водой.

А потом запропастился хозяин на два дня. Говорили: правду пошел искать. И нашел: привез в машине готового теса на крышу – за четыре дня сам с Витей и перекрыл. И опять шли полюбоваться новой крышей: ай да Иван – руки-то золотые! Всю войну воевал сапером!

И поползли по Смолькам желанные перетолки: «А Иван-то Петров председателя Семена сменит», «Иван-от свой, и защитить сумеет». – И мы, мальчишки, свято верили, что в Смольки наконец-то пришел защитник, богатырь, уж он-то, если что, тряхнет любого.

Кончилось бабье лето – зарядили дожди, обложные, осенние. Настала пора вывозить с полей и колхозную картошку.

Картошка в поле

Дождь как будто иссяк, хотя нет-нет, да и сыпанет. И Наталья Николаевна, одетая в душегрейку и в серый хрустящий плащ, с корзиной в руке, повела нас, четвероклассников, на колхозное поле выбирать картошку. Полеводческая бригада с утра работала в поле. По двое на борозде они выбирали вывороченную плугом картошку. Делалось это просто: встряхивали куст ботвы с землей, клубни в плетюху; несколько скребков царапкой: есть – собрал, нет – дальше пошли. Наполненные картошкой плетюхи оставляли на меже – на лошади увезут.

Нам отвели борозды рядом с опушкой леса. Каждому предстояло выбрать по три плетюхи. Шли кто с ведром, кто с царапкой, и только Симка с пустыми руками. Наталья Николаевна возбужденно рассказывала, как во время коллективизации вот на этом поле впервые посеяли колхозный овес. И уродились овсы такие, что медведи со всей округи приходили сюда лакомиться.

– А что, Наталья Николаевна, и не судили их за колоски?

– Кого за колоски?

– Да мишек...

И засмеялись: ох, и языкастый Симка, умеет шутки шутить.

– А ты, мишка, что это с пустыми руками? Кто же за тебя работать станет?

– За меня не надо, Наталья Николаевна. Я уже нагорбился на своем усаде!

– Видишь ты какой, у тебя все так от зубов и отскакивает – уроки так отскакивали бы.

– Отскакивает, – согласился Симка, – коли есть, что есть! – И во всю свою полоротость пропел:

Картошку копал —
Где моя копалочка?
Пять лета хлеба нет,
И в колхозе палочка!..

Мы посмеивались, а Наталья Николаевна хмурилась.

– Я сейчас, Наталья Николаевна, теплину²⁶ разведу, и картошку стану пекарить и вас угощать. Я и спички утянул у мамани...

Так и было: мы выбирали картошку, но сколько ни вдохновляла нас Наталья Николаевна, выбирали без желания. Ведь все мы знали, взрослые об этом говорили, что картошки колхозной сколько ни заложи в хранилище – впрок не пойдет. Хранилище протекает и холодное; картошку закладывать след сухую, а тут в любую погоду с поля напрямик в хранилище. Собранный урожай уже с осени начинает гнить. И гонят баб на переборку – вечно возле хранилища гора гнили... Вот и мы поглядывали, как Симка теплину разводит.

И все-таки стыдно лениться, когда старая учительница работает и девочки тоже. Так и разошлись, старались, пока спины не затекли. И тогда все пошли к костру отдохнуть. Наталья Николаевна постелила плащ на перевернутое ведро и села. А мы вокруг слушаем о коллективизации. Когда же она сказала:

– А знаете, как люди при царе жили...

– Ага, знаем, – не дав ей завершить фразу, вклинился Витя-молчун. – При царе Николашке ели белы колобашки, а теперь лепешки из гнилой картошки.

Наталья Николаевна даже побледнела. Она вытерла губы носовым платком и негромко сказала:

²⁶ Теплина – костер.

– Витя, если ты не хочешь накликать беду на родителей, в другой раз попридержи язычок.

– Да у Вити и всегда язык за зубами! – Симка засмеялся, прихватил чье-то ведро и обнял за плечо Витю: – Айда картохи наберем... Мы, Наталья Николаевна, где уже собрали!

Интересно – и я побежал следом. Они прошли к бороздам, откуда уже увезли картошку. И правда, одна за другой выкатывалась картошка из-под въедливых царапок... Да это же половина картошки в земле остается – приходи и собирай!

– А пошибче дождем промоет, так и царапок не надо – все поле побелеет от картошки, – пояснил Симка. – А летошний год, чтобы не собирали, так сразу и запахали... А Наталья бзикат.

– Так и есть колхозница. Вот и страшат...

Митя

Ни обуви крепкой, ни плаща у Мити не было. А дожди уже холодные сеяли и сеяли. Митя приходил из школы промокший и бледный. Иногда он еле волочил ноги, а дома, кроме маминей слезливости, ничего не было. Мне и теперь кажется, что Митю понимал только я. Он был, без сомнения, одаренным, но одаренности его родители даже не замечали. Отец единственное что мог сказать:

– Я в твои годы уже работал...

Вскоре Митя заболел: кроме простуды, у него болели ноги, наверное, тоже застудил. Правда, дней через десять он уже выправился и окреп, но как-то вечером решительно заявил, что в школу ходить не будет. Отец возмущался и негодовал – я до сих пор не могу понять его возмущения. А мама плакала, ничего другого придумать она и не могла. До сих пор помню, как я старался в душе своей оправдать родителей, пытался и отстраниться, не замечать происходящего, но ведь видел же я, как Митя, укрывшись, беспомощно плакал.

Все решилось в один день: я пришел из школы – Митя был уже собран в дорогу. В то время охотно загребали в рабочий класс всех, кто попадался под руку. По деревням разъезжали агенты, агитировали подростков в ремесленные училища, в ФЗУ²⁷. Деревенские вдовы смотрели на агитаторов, как на черных воронов, прятали своих чад от разбойников, не соглашаясь ни на какие переговоры. Наша родительница пришла сама:

– Возьмите моего сына в ремесленное училище.

И даже выдавший виды агент вытаращил глаза:

– Вы же не голодаете! – в конце концов воскликнул он.

– Сейчас – нет.

– Да он у вас инвалид! Как он будет работать токарем или слесарем?

– Возьмите...

И человек, наверное, понял – неладное в семье. И согласился.

Только тогда мама известила отца. Он пришел уже при мне, и я видел его недобрую усмешку:

– Что, Димитрий, в люди собрался? Ну, давай, – и подал руку, но даже не обнял сына.

Мы с мамой пошли проводить Митю. У вербовщика была лошадь, запряженная в бричку, в которой уже сидело трое горемык, четвертый – Митя – и сидеть не мог в бричке, только полулежа.

Из Правления колхоза вышел агент. Мама обняла Митю:

– Не осуждай, сынок, там тебе будет лучше – ты понимаешь все, – и слезы, всюду спасительные слезы.

И мы с братом обнялись, и я всхлипнул, но Митя сказал:

– Не надо, Сережа... Дорога-то у нас одна: сегодня я, а завтра – ты.

Подошла Валя-товарка. Она застенчиво отвела взгляд и сказала, передавая газетный пакет с орехами:

– Возьми, Митя, в дороге и погрызешь...

Вербовщик отвязал вожжи, сел на грядку телеги, причмокнув, развернул лошадь на проселок... Прощай, Митя, – жизнь снова нас разлучила.

²⁷ ФЗУ – фабрично-заводское ученичество.

Моя крепость

Когда у отца случалось мирное настроение, вечером, чтобы выпроводить нас из горницы – от стола и керосиновой лампы, он, присвистнув, кричал:

– Сарынь, на печку!

Мы хватали учебники – и убегали. Второй лампы не было, да и керосин на строгом учете. Но была у нас лампадка – такие мы делали во время войны и называли их коптилками.

Русская печь – удивительное изобретение. Это одно из мировых чудес! В печи можно сварить что угодно и для скотины, и для себя, для семьи, поджарить, потушить, испечь пироги и хлеб форменный, и на поду²⁸ лучше, чем в любой пекарне. И весь день все горячее. Обогрев жилья и сушилка для одежды и обуви. На печи и лежанка на троих. Укрываться необязательно, но обязательно стелить под бока: внутри огонь, топка, и кирпичи иногда так раскаляются, что можно получить ожог. Но уж и болезни выпаривает русская печь лучше любого лекарства. И что удивительно, на печи не бывает душно... Между задней стенкой печи и стеной дома свободное место: сюда временно помещали отелившегося теленка, потому что во дворе зимой он может застудиться, да и сосать корове вымя теленку не дают.

Мы засвечивали на плечике коптилку, и Митя читал вслух книгу, тогда я уже пользовался школьной библиотекой. Книжки читали бездарные, пропагандистские. Из всего прочитанного на печи запомнился один «Дерсу Узала». Впечатление, видимо, было сильное, так что отец опять же под настроение дразнил меня Дерсу...

И вот не стало Мити – появилась тоска одиночества. Все реже я зажигал коптилку, а если и зажигал, то скоро откладывал слепую книгу – и думал. С думой засыпал, с думой и просыпался. Именно в ту первую послевоенную зиму особенно развилось во мне сознательное воображение: достаточно было представить Митю в ремеслухе, на Волге, в затоне имени Парижской коммуны, как в моем воображении рисовались десятки фантастических картин и действий. И это было интересно, нередко я жил этим – мой мир, куда никто не вторгался.

Наиболее сладостное для меня время бывало утром – полчаса, час, пока я просыпался под стукоток ухватов и чугунков в печи или под гул огня в тяге и потрескивание горящих поленьев. Со страхом вдруг представлялось: подо мной раскаленный свод, огонь! Но тотчас успокаивала мысль: ведь там хозяйничает мама, и уж она-то не даст меня в обиду, а если начнут рушиться кирпичи, она предупредит, крикнет.

Но нередко и утром бывало тошно: мама топила печь и плакала – или обидел отец, или вспомнила что-то, или стало невыносимо жить – устала в тридцать шесть лет. Но в любом случае – она плакала, и я переставал быть полусонным ребенком, становился военным малолетним мужичком, который все знает, все понимает – и даже тайны взрослых, и в невероятных страданиях переживает личные невзгоды и трагедии.

Днем я жил школой и деревней. А вечером, какмышь, затаившись на печи, я нередко погружался в родительские перепалки или заботы. Случалось, они мирно говорили о жизни – там был их мир, за занавеской, в горнице.

– Ты думаешь, я не вижу? Тянут все: черпают сыворотку, отвернись – черпают обрат; и Нюрка, и этот идиот (душевнобольной сторож, Миша Кирганов), тянут и творог, и молоко. Уволить – нет смысла, и другие будут не лучше.

– И не уследишь, – мама вздохнула. – Да и что толку, если и уследишь? Не от хорошей жизни...

– Им «не от хорошей», а я могу за растрату в Кандалакшу! Тоже не лучший баланс... Да и сами едим. А ведь все на учете: принял – сдал. Сыворотку – и ту колхоз забирает по квитанции.

²⁸ На поду – на нижней поверхности печи, без формы.

– И считанных овец волк таскает.
– Во-во, ягишная баба!.. Посадят не тебя, а меня!
– Сразу не посадят – заставят возместить.
– Ну, хлоп тебя в лоб! А чем возмещать?! Да-да-да – вот об этом я и думаю... Надо поросенка заводить – на сыворотке и выпаивать, чтобы в любое время можно было покрыть растрату... Сегодня утром пощелкал костяшками – на полчушки уже недостача... Все, решил: с творогом поеду – привезу поросенка.

– Какой тебе поросенок, скоро уже резать будут... И опять на меня повесишь?
– Вот дура, а на кого же еще!..

В этом разговоре все было ясно, зато в другой раз я так и не понял их до конца.

– Зря ты отправила Митьку. Пусть бы и сидел здесь – поросят и выхаживал бы.
– Да ты и его затюкал бы...

– Сегодня слышу – бабы языками шлепают: «Сам пьет, а сына хромого в фэзуху спровадил».

– Правильно говорят – вот ты и слушай. А вырастут и твой, и Митя – иначе скажут, так что готовься.

– Уже вырос... А Митьке везде плохо будет – пусть привыкает...

– Приучал цыган кобылу к ременному кнуту, да подохла... Мы и виноваты, что он инвалид.

– Ну, если ты виновата, то и кайся, а мне – бир-бар!

– С лысого и взятки гладки.

– Неизвестно еще, как завтра повернется...

– Ну, ты и трус!

– А тебе что – понравилось на «казарменном положении»?

– Пережила.

– А я не хочу! Ясно ли вашей глупости?

– Куда яснее! А ты не трусь – не гусь, не укусит.

– Замолчи! Язык жабий – наперед ума бежит...

– Да ведь прошло-то уже почти двадцать лет! Ты воевал четыре года.

– Воевал, воевал – и до этой еще войны воевал. А Мосхин до сих пор на том же месте сидит!

– Вот и пусть сидит, а ты – живи.

– Тьфу, дура! Мне ведь не десять суток «казарменного положения», а десять лет!.. Ты дура и ничего не поймешь...

После подобных всплесков любые беседы обычно прекращались. А я закрывал глаза и тихо проваливался в горячую лежанку... Потрескивали бревенчатые стены, где-то тихо шуршала или что-то грызла мышь, из рукомойника звонко капала в ведро вода и постукивала задвижка в дымоходе... А в сознании повторялось и повторялось – «казарменное положение», «десять суток», «десять лет». «Казарменное положение» рядом – ведь это было и всего-то полгода назад. Но тогда я что-то не понимал – надо спросить, надо спросить, надо спросить...

И я спросил.

Сухое мясо

Мама во время войны работала телефонисткой на коммутаторе – и не где-нибудь, а в областном НКВД²⁹. Мне даже довелось видеть однажды главу этого ведомства, Дегтева. Я пришел за пайкой карточного хлеба. Мама и побежала отовариваться. А я, как обычно в таких случаях, надел наушники и на световые запросы бодро отвечал: «Слушаю». В наушниках посмеивались и называли номер. И я соединял... Как вдруг засветилось 57 – глава!

– Слушаю, – без сомнения ответил я.

– А это что за девочка? – пророкотал Дегтев.

– Не девочка, мальчик, – поправил я. – Какой вам номер соединить?

– Где телефонистка?

– Телефонистка вышла по нужде.

Дегтев хмыкнул и назвал номер. А через несколько минут он предстал на пороге коммутаторской: рослый, широкий, утомленный, он смотрел на меня тяжело и брезгливо.

– Работаете?

– Ага, подменяю.

– И часто приходится?

– Когда бываю.

– А зачем же бываешь?

– Есть хочу...

В это время за его спиной появилась мама. Я видел, как ловко и быстро она спрятала хлеб. Дегтев не стал ни расспрашивать, ни выслушивать, он повернулся и на ходу коротко распорядился:

– Впредь чтобы этого не было...

А вскоре мама пришла домой в шинели.

– Перевели в охрану, – сказала она. Как и прежде, она работала в три смены, круглосуточно. Но на ее рабочем месте я никогда не бывал. Нажимал кнопку звонка в высоком сплошном заборе с козырьком – и выходила мама: в гимнастерке под ремнем, в форменной юбке – как положено. Это в январе.

А в феврале 1945 года я простудился. Неделию лежал в постели, еще неделю не выходил из дома. Мама, уходя, дверь снаружи запирала на замок, чтобы не вздумал на улицу.

Так вот впервые незнакомая женщина, тихая и большеглазая, появилась у нас в самом начале моей болезни. Жилище наше в глинобитной хибарке с земляным полом было разделено голландской плитой: здесь мы варили, и ели, и спали, и даже иногда делали уроки... Ночью с дежурства мама и пришла с гостьей. Они разделлись и прошли за плитку. Я не мог понять, о чем они говорят. Гостья тихо плакала, не раз опускалась на колени и крестилась. Мама сидела как будто окаменевшая... Женщина приходила несколько раз – все повторялось. Иногда мама комкала какие-то бумажки и сжигала их в плите. С неделю ее не было – и вновь пришла: выгрузила из сумки какие-то кульки – и ушла. Мама положила все принесенное в коробку, задвинула под кровать, и всякий раз, уходя на дежурство, брала что-нибудь из коробки с собой. Однажды и мне дала горсточку чего-то сушеного, вроде грушевого компота. Испытав на зуб, я ничего не понял и спросил:

– А это что, мам?

– Сухое мясо, – ответила она.

Мне такое мясо совсем не понравилось. Теперь-то я понимаю: мясо надо было размочить, распарить и сварить, а потом уже есть; я же грыз его в сухом виде.

²⁹ НКВД – Народный комиссариат внутренних дел.

А уже в марте после одного из дежурств мама и объявила, что ее переводят на казарменное положение. Запомнилось мне это «казарменное положение»! И как же долго тянулись эти десять дней! Я ходил в школу, получал по карточке свои триста граммов хлеба – и сразу съедал, топил плиту и кипятил чай. С друзьями мы где-то доставали кормовой жмых и целыми днями грызли его, до крови сбивая десны. Как будто и теперь в горле этот отвратительный вкус вонючего вещества.

К маме я ходил дважды. Один раз не пропустили в проходной; в другой раз пропустили, но в калитке через форточку ответили, что она не может. В следующий раз дверца в калитке открылась почти тотчас, и я увидел во дворе свою маму – она шла по кругу, заложив руки за спину, на плечах ее была расстегнутая шинель... Все это я ухватил в один взгляд и наивно подумал: наверное, какие-то занятия проводят...

Я поговорил с мамой через форточку. Она обещала через три дня прийти домой. Будто я и сам этого не знал!

Мама пришла, и в тот же день сказала мне, что попала под сокращение штатов. Увязала свою форму в узел и унесла из дома навсегда. Новая беда – мама осталась без работы.

И только теперь, в Смольках, рассказала:

– Я и не знала, за какую провинность меня из коммутатора выпроводили. А перевели меня не в охрану, а в тюремные надзиратели: за забором внутри двора тюрьма была следственная, и сидели там не за воровство, а за политику. Государственные преступники – от страха и душа в пятки уходила... Первое время заглянуть в глазок страшилась. А потом присмотрелась – обыкновенные люди, горькие и несчастные. Никаких передач им не разрешалось. Понятно, голодные, но холода лютого не было – только в карцерах. И бить в камерах не били; случалось, но тут уж и сами они бывали виноваты – нарушали режим. А вот с допросов под руки в камеру втаскивали. Только отдышится, глядишь, снова на допрос. А то напрямую от следователя и в карцер.

Иной раз откроешь кормушку (форточку) и кричишь шепотом:

– Не нарушать режима!..

Какой режим? Громко не говорить, не переговариваться через стену, днем не ложиться, ночью не закрывать лица... Другой посмотрит тоскливо, покачает головой и скажет:

– Эх, сестренка, не пугай. Все равно ведь палачи расстреляют...

Просили разве что покурить принести или письмо с их слов домой отправить, известить... Табак – полбеды, а за письмо можно было и под следствие угодить. Но чем больше видишь навеки обреченных, тем горше в душе тоска. А уж за что сидят – в тюрьме никто и не знает, статья – и все... Дома горе, на работе – вдвое. А жить надо, другой работы нет. А тут еще и эта история...

Вышла я из проходной после дежурства: темно, морозно – и никого на улице. Ведь как стемнело – все по домам, страхи: то «черные кошки»³⁰, то на мыло пришибут или на пирожки, а то и проще – хулиганство. Идешь – и поджилки трясутся. Слышу: кто-то хрупает следом. Оглянулась – похоже, женщина. Остановлюсь, оглянусь – и она стоит. Я пойду – и она следом. Взяла да и свернула за первый же угол – и стою: она прямо на меня и вывернулась.

– Здравствуй, – говорю, – ты что это мои следы топчешь? – А руку-то одну в кармане шинели держу: знай, мол, наших.

– Прости, сестра, прости, – говорит еле слышно, – второй раз за тобой следом иду, а остановить не решаюсь. – И заплакала, да так горько, что и дыхание перехватило.

– У меня, – говорю, – дома ребенок больной под замком. Не могу я тут тары-бары разводить. Хочешь, иди рядом и говори – что надо? – Идет она и молчит. – Что молчишь? Что тебе надо? – наконец я уже вознегодовала. – Поворачивайся и иди своей дорогой!

³⁰ «Черные кошки» – банда, орудовавшая во время войны.

– Муж у меня сгинул...
– У всех мужья сгинули.
– У всех на фронте, а мой – в тюрьме. Вот и ищу.
– А я что – союзный розыск?! – И такая досада закипела, впору хоть тычка дать.
– Ты знаешь, где он, – вдруг и заявила, да так упрямо.
– Кто же это тебе такое сморозил?... Я телефонисткой работаю.
– Не знаю, кем ты работаешь, только старец духовный мне сказал: поезжай в город, дождись темноты, как выйдет женщина в шинели – вот она и знает, зовут ее Таней...

У меня и ноги подкосились. И в голову ведь не пришло, что так-то могли и на удочку поймать... Имя-то мое откуда узнала? Какой там старик ей нагадал!.. Вот и привела ее домой. Говорю: не знаю ничего и знать не могу. А она свое: старец сказал – я ему верю... И сует, сует записочку мне в руку, а в записочке фамилия ее мужа и ему же поклон земной – дети живы... Что-то, знать, тайное, загадочное во всем этом было. Сказать бы: нет – и все. А я, наоборот, как будто в обязанность вхожу. Понимаю, что оробела, а выпроводить ее просто так уже не могу. Помрачилось... Взяла у нее записочку, а по фамилии уже знаю, в какой камере ее муж сидит, – это он мне и говорил: все равно расстреляют... Дважды и передавала от нее писульки. Да только что писать на клочке газеты? Живы, здоровы – храни тебя Бог... Правда, во второй писульке он дописал: «Прощай, вряд ли увидимся – береги детей»... И все это гладко прошло. А потом она привезла сухого мяса. Принесу ему в кулечке, он его в кружку – и горячей водой зальет – тотчас и съест. И тоже сходило. А тут только он, видать, запарил – его на допрос. Там без предупреждения – выходи. Когда уводят к следователю – в камере обязательно досмотр проводится. Сдали мы его разводящим, а сами в камеру... Смотрю: батюшки, в кружке-то запарено. Надо бы не замечать, авось, проскочили бы. А я взяла кружку и вылила в парашу. Старший так и ринулся:

– Что в кружке?!
– Из корки, – говорю, – чай, наверное, заварил.

Он это цап кружку – запах не тот... И выгребли из параша – что-то мясное! А нас и всего-то тут двое – можно было бы и не поднимать шума. А страх куда денешь? Друг друга ведь боимся. Когда же до третьего дошло – тут уж и вовсе крышка, не утаишься...

Нет, не били – хуже... В общем, Дегтев сжалился: десять суток карцера – и уволить. Вот и все тут «казарменное положение». Пить каждый день давали, а есть – через день... Карцер какой? Цементный полуподвал: не отапливается – на стенах куржак³¹, в окошечке с решеткой стекол нет, впрочем, и рамы нет. Правда, к тому времени лютых морозов уже не было. Слава богу, шинель не отбирали... А что жалеть, только вот с мясом сухим зря затеяла – все равно ведь этим не спасешь.

³¹ Куржак – нарост инея.

Капуста, моя капустица

После первых заморозков капусту срезали и на пойме, и в огородах. И как будто сговорились – в один день с утра запостукивали тятками в деревянные корыта. В каждой избе рубили или шинковали капусту с запасом. Дело это нетрудное, коллективное и даже веселое. Особенно у Галяновых: один чистит и подает вилки, второй – чистит и режет вдоль морковь, трое острыми полукруглыми тятками в деревянных корытцах рубят капусту и морковь, перекладывают в эмалированное ведро и тотчас по норме солят, а старший, Вася, уносит ведро в погреб и мощным деревянным пестом аккуратно в кадушке мнет и давит капусту до тех пор, пока она не пустит сок. А за это время нарубят еще ведро – так и подвигается дело. Шутки, смех, все крепкозубые – грызут звонкие кочерыжки и морковь. А когда уже капусты на треть кадушки и вся она купается в своем соку, режут вилки на четыре, а то и на две части и укладывают сверху рядком, покроют рубленой капустой – и еще рядок вилоквой. Очень вкусно зимой с картошкой! Наполняют не до краев, не то начнет пучиться – и потечет через край. А когда кадушка наполнена по норме, покроют капусту сначала листьями, потом чистой тряпицей, на тряпицу деревянный кружок, а уж на кружок груз, гнет, чтобы сверху сок был.

Припоет Симка что-нибудь вроде:
Ах, душка моя,
Ты кадушка моя!
Капуста моя, капустица,
То вверх, то вниз опустится...

Передохнут, похлебают щей из печи – и за вторую кадушку, поменьше... С уборкой не управились, уборку оставили на следующий день.

Готовая капуста у Феди была вкуснее.

– Чай, Мамка добавляет тмину, яблочко и еще чтой-то, – пояснил Федя. – И с молитвой: вот и скус особый...

За зиму я не раз мог убедиться, что главная еда в Смольках – картошка и капуста.

Пятьдесят трудодней

Призвали Настю Курбатову в Правление колхоза – а там, глядь, заседают: то ли суд, то ли какая-то административная комиссия. И все уже решено. Спросили:

– Так было дело?

– Так.

– Мы учли, что ты единственная кормилица детей, что старший сын служит в рядах Советской армии, и приняли смягчающее решение: за противозаконные действия при обмо- лоте колхозного урожая оштрафовать на пятьдесят трудодней. Предупреждаем, что при повто- рении подобного будут применены более строгие меры. Решение обжалованию не подлежит.

И все. Собрались и уехали. Только после этого побежала по Смолькам весть: «Настю-то Курбатову засудили – и тайком!»

А Настя вышла из Правления колхоза, повернулась, плюнула и сипло выкрикнула:

– Да подавитесь вы моими трудоднями! Попритчило бы вам!

Погромщики

– Последнего урока не будет – все организованно пойдем на общественное мероприятие, – многозначительно объявила Наталья Николаевна.

– Ага, а второклассников домой!

– Куда это она нас?

– Предприятие какое-то.

– Чай, у меня дома и свое предприятие...

Недоуменно переговаривались мы, но все-таки подчинялись школьной дисциплине: стояли и ждали, когда нас куда-то поведут. Небо хотя и было пасмурное, но без дождя – тянуло холодным ветерком.

– Бди, парень, поведет она нас колхозных коров обихаживать, – умудренно предположил Федя. – Вот если выйдет в фартуке – точно так! – И вскинул голову и прищурил глаз. Но вышла Наталья Николаевна не одна, а с Васей Щипаным. На обоих были темные длинные пальто и шляпы; оба невысокого роста, оба большеносые, как будто нахохлившиеся. И повели они нас по взгорку в деревню.

– Вася-то уже, чай, не мене года в гору не влазил! – шепнул Симка, высунул язык и припел коротко, зачинно:

Ох, как трудно идти в горушку —
Головушка болит!..

– Ну, тебе, Серафим, пока еще нетрудно, – сказала Наталья Николаевна.

А вот сами они остановились – Василий Петрович задохнулся. Так ведь и поднялись в горку и наискосок пошли к Правлению колхоза.

– Ля-ля-ля! – закричал Витя. – С церкви-то крест упал!

И все мы увидели, что привычного небольшого черного креста над куполом нет... Так вот нас куда ведут!

– Не могли повременить, – глухо возмутилась Наталья Николаевна.

Мы побежали вперед, оставив позади колхозников.

Церковь в Смольках закрыли еще до коллективизации. Нам казалось – это так давно, ведь никого из нас тогда и на свете не было! Но храм не разрушили: закрыли, замкнули, священника, говорили, угнали за Можай – и все. Лет через пять открыли, но не для верующих, а для разграбления – разбили престол, иконостас; погрузили на телегу «цветной металл», иконы; полез, говорят, кто-то крест сшибать, да сверзился – не насмерть, но с переломами. Так и не довели дело до конца. Заколотили горбылем окна, замкнули – и оставили на поругание. Хорошить на прилегающем кладбище еще в 1930 году запретили. И вот теперь по чьей-то просьбе или по указу вновь руки дошли или доехали.

Возле церкви стояла новенькая грузовая машина, газик под брезентом. Двери в церковь распахнуты, и нездешние молодые люди, видимо, все подряд выносили из храма: что-то совали в кузов машины, а все деревянное швыряли в кучу, намереваясь, наверное, поджечь.

Поодаль вразброд стояли хмурые бабы – молчали, никто даже словом не возмущался. Здесь же были Настя и Мамка – Федя проворно дернул ее за рукав и спросил:

– Это что, Мамка? Чьи это?

Мамка склонилась, обняла Федю за плечо и негромко пояснила:

– Комсомольцы, Федя, из района... Или совсем ломать станут, или, говорят, под хранилище готовят. Вот и приехали для погрома...

– А что не сами?

– Так ведь они и кладбище снесут – свои-то не станут могилы рушить.
– Станут, еще как станут...
– Станут, если до конца уже совесть потеряли... Господи, крест решились, – так и засто-
нала Мамка.

В это время из храма вынесли икону и бросили в кучу – доска разломилась.
– Нехристи! Что творите?! – выкрикнула Тоня Галянова, солдатка с нашего конца.
– Право, окаянные – крест им помешал...
– Зерно хотят ссыпать в церковь – стены крепкие, не украдут.
– Несут, еще икону несут... разбойники и есть!
– Какие разбойники – погромщики! И по своей воле – и все мы такие. Теперь войну
завершили, вот и валят...

– Эй, окаянные, пошто на могилы прете?! – это взбунтовались всего лишь две бабы.
Правда, уже через минуту и другие загудели. И только Наталья Николаевна и Вася Щипа-
ный, нахохлившись, взирали исподлобья, аки вороны. Не думали они, что и могилы крушить
станут. Ведь их единственный сын похоронен здесь, да и сами они надеялись именно здесь
найти свое упокоение: чтобы рядышком и с обелиском со звездой и надписью – они были пер-
выми...

– Айда, айда! – позвал Симка и побежал в сторону хранилища.
Мы следом. А там уже куча гнилой картошки, здесь же и ведро старое валяется: набро-
сали в него гнилушек и бегом на место... Как только двое взялись за могильный крест, едва
качнули – крест и подломился. Бабы ахнули, а Симка распорядился:
– Бомби их, парнишки! – И запустил свою «гранату». Да так ловко – ляпуха шмякнулась
в спину погромщика.

– Э! – крикнул он. – Перестань кидать, сейчас пинка дам!
– Дашь! Накось вот, выкуси! – И полетели гнилушки.
И чья-то «граната» пришлась по затылку одному из погромщиков. Бабы засмеялись. А
пострадавший с руганью погнался за нами. Мы в рассыпную, и только Витя как стоял, так и
остался стоять. И парень поддал ему ногой под зад. И в то же время его самого за шиворот
поймал Иван Петров. И не только поймал, второй рукой прихватил за штаны и, тряхнув, понес
к машине. Как мешок с мякиной бросил он его в кузов.

Подошел председатель:
– Ты что, Иван, самоуправством занимаешься?!
– Да это не я, а вы самоуправствуете. Почто разрешили могилы трогать? Хоть бы на
Правлении решил...

С одной стороны сгрудились комсомольцы-погромщики, с другой понадвинулись бабы.
– А чего решать? – председатель закурил папиросу. – Пятнадцать лет нет захоронений –
полное право ликвидировать старое кладбище. Так и в районе сказали.

И Иван Петров смешался – с законами-то он не в ладу. Но тут – поистине вдруг! – под-
ступила Наталья Николаевна. Губы ее дрожали, казалось, перед слезами.
– А вам, Семен Семенович, еще должны были сказать в районе, что перед ликвидацией
кладбища необходимо предложить людям сделать перезахоронения – кто желает.

Теперь на короткое время смутился председатель:
– Да, это было сказано, но кто станет копать...
– И тем не менее, – наконец, видимо, взяв себя в руки, по-учительски строго сказала
Наталья Николаевна, – без такой формальности и вы не имеете права.
– Вот, – поставил точку Иван Петров. – Ехайте отсюда, не то я вас в кузов побросаю.
– Смотри, дядя, споткнешься, – небрежно сказал один из комсомольцев, видимо, глав-
ный, и обратился к председателю: – Внутри мы навели порядок, а уж с могилами разберитесь.
Надо будет – приедем...

В это время Иван Петров свысока заглянул в кузов машины: там лежало несколько подсвечников и внизу тяжелый церковный крест. Иван легко вытянул крест и перехватил его в одну руку. Все молчали.

– В металлолом старые бороны возьмите и два плуга гниют. А это мой прадед ковал. Вот. – И пошел восвояси с крестом в руке.

Комсомольцы уехали. А бабы еще долго не расходились. И председатель Семен убеждал, что в районе было решено церковь разрушить, но он упросил, чтобы не разрушали, а передали колхозу под хранилище. Поэтому и кладбище нельзя оставлять – все равно затопчут, да и теперь – две ухоженных могилы... Он говорил и говорил, его слушали, но ему никто не верил.

Первый снег

Всю ночь накануне ноябрьских праздников шел снег. Он падал и падал медленными крупными хлопьями, сначала раскисал на талой земле, но затем уже ложился и схватывался, прикрывая осеннюю грязь... Снег падал всю ночь – и ночь становилась светлее. Пушистый, чистый и радостный снег! Свинцовой темной лентой по белой незатоптанной пойме изгибалась Сура.

Я иду, а мать качается
Со свечечкой в руке.
Снеги белые, как слезыньки,
Поплыли по реке, —

напевал Симка и голиком сметал снег с крылечка и с цоколя под окнами... Федя выволок со двора большие дровни и катал Манечку по первопутку... Витя клепал разошедшиеся дровешки для братьев... У меня не было деревянной лопаты, вернее, я не нашел ее во дворе, поэтому заступом расчищал до земли снег возле дома. Наконец Федя окликнул:

– Парень, не дело делаешь! Всю грязь с улицы на ногах и понесешь в избу. Снег-от при-топчется – не трогай. Айда на дровнях с горы!..

И какая же радость – первый снег!

По дрова

Мы долго придумывали план, и в конце концов все у нас сошлось на дровах. Колхоз обязан был привезти нам дров, но так пока и не привезли – и мы жгли хозяйские, сложенные в поленницу во дворе. Решили так: в случае чего на дрова и сошлемся. Взяли дровни с веревкой на задках и задворками вдоль деревни пошли к церкви. Возле коровника что-то делали бабы; у ворот конюшни конюх за уздечку кругами выгуливал Орлика. Конь норовисто вздергивал голову, и всякий раз конюх одергивал его и что-то говорил.

– Ну, елдыжный бабай, – проворчал Федя, – значит, Семен дома. Нет бы с утра на саночках и укатил, как хорошо бы...

Чем ближе мы подходили, тем плотнее охватывала робость. Однако на нас никто не обращал внимания, и мы спокойно вышли на дорогу. Здесь дровни в руки и стороной вокруг церкви подошли к куче, набросанной комсомольцами и теперь заснеженной. Надо было выбрать иконы, а это оказалось не так просто сделать. Раскидывать изуродованные киоты – значило тайную операцию сделать явной.

Я был более сторожкий и осмотрительный, поэтому и отслеживал дорогу от Правления колхоза до скотных дворов – никого нет, командуя, и Федя опрокидывает сверху киот. Еще и еще – и мы с трудом вытягиваем икону и укладываем ее на дровни...

Навозились досыта: Федя и ворчал, и не раз ругался елдыжным бабаем, раскровянил себе руку гвоздем и, как собака, ворчал и зализывал себе рану. Мы и не заметили, что учинили новый погром, – на обе стороны разворочали всю кучу. И это с дороги конечно же было видно. Семь освобожденных икон сверху мы обложили обломками брусков и дощечек – маскировка! – все это обвязали веревкой за копылки, – и воз был готов.

– Это что же вы там делаете?! – окликнули с дороги.

Мы так и присели. Но видя, что это незначущая смольковская баба, Федя распрямился, молча погрозил кулаком и замахал рукой: уходи, мол, скорее отсюда и помалкивай!

– Ты, Феденька? – признала баба. – Ну, так валяйте, валяйте, – согласно кивнула головой и пошла, через каждые несколько шагов оглядываясь.

Мы взялись за веревку и тогда только поняли, что возок-то наш – тяжелый. Подергали дровни из стороны в сторону, полозья очистились и стронулись. И нетяжело – дотянем! Теперь нам не надо было маскироваться, и мы поперли напрямую к дороге. И каково же было нам, когда, еще и на дорогу не выбравшись, увидели мы, что из Правления колхоза вышел председатель, закурил папироску и пошел по дороге в нашу сторону...

– Давай, давай... через дорогу... на дрова в подтопок... тяни, – несвязно бормотал Федя.

Наконец он оставил веревку, забежал и уперся в задки дровней – загородил видимость. И мы перевалили через дорогу и даже отъехали десятка два шагов, когда председатель Семен, поравнявшись, строго спросил:

– А вы что еще тут тянете?

Не отпуская дровней, Федя вывернул голову и гугниво ответил:

– Вот сливачу на дрова – просил.

И я в подтверждение кивнул головой – язык-то заклинило.

– Или вам дров не завезли?

– Не завезли, – говорю покорно. – Для подтопка. Печку чужими топим.

– Я напому – привезут... А на дрова ли везете? – Он отбросил окуроч, широко растянул рот, шагнул было к нам с дороги, но безнадежно отмахнулся рукой и быстро пошел к конному двору.

– Ехор-мохор, неужто Семена пронесло! – И Федя поспешно перекрестился. – Тятеньке твоему не сказал бы.

– А я наперед – сам скажу: привезли дрова для подтопка.

– Айда, не то ведь и раздумает, возвратится... Мамке ничего не говори...

Мы втянули дровни во двор и закрыли ворота. Спешно вышла встревоженная Мамка:

– Господи, парнишки, молодцы-то какие! Никто вас не видел?... Матерь Божия, Царица Небесная... слава Тебе, Господи...

Сбросили сверху «прикрытие», и Мамка, обхватив, унесла икону в избу, к себе в боковушку. Мы понесли вдвоем.

– Да как же вы там с ними управились, милые мои... Заходите, заходите, я вас чаем с сахаром напою...

Но прежде чем пить чай с сахаром, мы нагрузили в дровни Фединых дров, побросали наверх маскировку и отвезли дровни к нашему двору: во, мол, привезли дров для подтопка.

Отец, лыжи, поросенок и волки

Уже в ноябре прошли затяжные снегопады, ударили сухие морозы – и зима установилась холодная и тихая... За окнами еще бродили серые сумерки по белому снегу, когда из района возвратился отец. Он ввалился в избу с шумом-громом, с бранью и с вытаращенными глазами. Шума было много еще и потому, что отец внес в избу и лыжи, и поросенка в мешке, осипшего визжавши. Через минуту вошел и возчик. Отец, не снимая полушубка, распечатал бутылку водки, налил в два граненых стакана, и они с возчиком выпили, чем-то закусили, и только после этого отец как будто пришел в себя.

– Ну, матери твоей полпуда сухарей! Волки чуть не загрызли!

– Прямо уж – не загрызли... Пужают, но и шалят, – всезнающе заключил возчик. – У нас ведь до войны такого не бывало, а эти, чай, беженцы... И стрелять некому. Мужиков нет, и ружья все в деревне поотбিরали с войной...

– Так строем и провожали! – допоздна и на другой день все восклицал отец и начинал снова рассказывать... А дело было так.

Приехали с творогом и сливками на молокозавод они до обеда. Взвесили, проверили жирность, получили квитанции, чистые фляги и ушаты – и свободные. На рынке отец увидел старенькие лыжи с ремнями – широкие, тяжелые – за бесценок. Вот и купил их мне – это оказался единственный за всю мою жизнь от него подарок. Зато какой подарок! Мне так хотелось лыжи, что я едва не целовал эти доски... Отец на рынке спрашивал поросенка. Но, кроме ухмылок и шуток, в ответ ничего другого не было.

– А пошто гогочете?! – вмешался торговавший катанками³² валяла. – Есть поросята! Рядом – в Трофимовском совхозе. Недели по три-четыре. Продают...

Приехали в совхоз: поросята есть – бухгалтера нет. Подождите. В совхозной столовой пообедали по-домашнему. Пошли выбирать поросенка. Выбрали. Хоть и длиннорылый, но поросенок. Наконец пришла бухгалтер – оплатили. И даже мешок дали для поросенка и в мешок сена достаточно положили. Оно хоть и не сильный мороз, но ехать далеко.

В районе заглянули в магазин – купили соли и водки. Запахнулись поплотнее – поехали. Прикрыл отец поросенка в мешке полый полушубка – молчит, постанывает. А лошадь изработанная – еле трусит. Но выехали на свой проселок, и лошадь ровнее пошла – дорога к дому. Так и плюхали ни шатко ни валко. А когда уже большую часть пути одолели, на подъеме из оврага начал поросенок повизгивать – то ли замерз, то ли проголодался. И так его, и эдак – не унимается, визжит. А на поле выехали, чу, лошадь сбилась с хода и всхрапнула. Оглянулся возчик – батюшки! – серые один за другим мягкой поступью идут.

– Накликал порося – волки! – и возчик указал кнутом за обочину.

Отец оглянулся – и выругался: в тридцати – сорока шагах волки – четыре! – по ходу видно: звери, хищники! Возчик поднялся на колени, подобрал вожжи и кнут. Хлестнул было лошадь, но тщетно: как шлепала, так и шлепает копытами по дороге. Возчик легонько понукает, косится на сторону, а серые заметно прибавляют ходу. Если выйдут наперед лошади – хана! Отец кричит:

– Если что, поросенка им бросим!

Возчик лишь рукой махнул: этим, мол, не спасешься. И отец оробел: шарит по саням руками – ничего нет, фляги да поросенок. Господи, а под коленкой-то что жмет? Разгреб солому – старое кнутовище... А серые настигают, уже с задками дровней поравнялись – шагах в двадцати за обочиной. И сумерки каждую секунду сгущаются.

– Геть! Сволочи! – закричал отец и хрясть, хрясть по пустой фляге кнутовищем.

³² Катанки – валенки ручной работы.

Серые как шли, так и идут, но на несколько шагов, заметно, поотстали.

– Ага, шакалы! – вновь закричал отец и начал дубасить по фляге.

Да только звери – никакого внимания и скашивают как будто на сближение.

Лошадь по-прежнему плюхает – еще версты две до Смольков! – поросенок визжит, захлебывается. Возчик как будто дремлет на коленях. И отцу показалось, что сейчас и начнут эти молодцы! Он хотел крикнуть, но лишь храп вырвался из его горла. Дрогнувшими руками вытянул он из мешка сена, чиркнул спичку – сено вспыхнуло, и отец бросил в сторону волков горящий жгут. Но сено рассыпалось, угасло, лишь искры мелкие посыпались. В это время хищники, показалось, намеревались вырваться вперед. Но огонь как будто сбил их с намерения.

– Да погоняй ты! – отец выругался. – Они начинают!

Но возчик даже не шелохнулся, и лошадь на удивление равнодушно по-прежнему плюхала копытами. Отец дубасил и дубасил по фляге. Волки не хотели или не решались выходить вперед, а может быть, их приковывал визг поросенка. Но, скорее всего, звери были сыты.

Между тем дорога пошла под уклон – к Смолькам. Потянуло дымом из труб. И как только прихлынуло дыхание жилья человеческого, так и волки начали отставать.

– Надоело, – проворчал возчик, накинуд на локоть вожжи, снял рукавички, сунул их между коленей и начал скручивать самокрутку.

И отец скрутил козью ножку. Какое-то время оба молчали, освобождаясь от преследования. И лишь потрескивал крупный самосад и летели от самокруток по ветерку искры. И только теперь отец понял, что вспотел.

Когда утром я рассказал друзьям о случившемся, то был огорчен – они не удивились! А Федя тотчас растолковал:

– Экое, елдыжный бабай, диво! Погодь, снегу навалит, зайцы лежанки в огородах устроят, на пойме кочерыжки капустные выкапывать почнут, лисухи, гляди, по дворам зашныряют! А волки, ехор-мохор, всех собак в Смольках перетаскали... А вот лыжи у тебя, видать, катучие, широкие, с горы гоже...

Сам Федя ни на лыжах, ни на дровешках не катался, но всякий раз сопровождал сестру покататься.

Поп

Стороннего человека в деревне узнавали с первого взгляда. В одном конце деревни появится незнакомый, а в другом конце – уже спрашивают: «А это чей?».

После школы, накатавшись на лыжах, мы тянулись к деревне, когда на проселочной Никольской дороге появился мужчина. На нем была черная меховая ушанка с опущенными ушами, черное прямое пальто с меховым воротником, а на ногах подшитые валенки. В руке он нес пузатенький саквояжек. Мужчина оказался с бородой и с усами, да и по возрасту уже старый.

– А чей это дедок? – спросил я.

Витя пожал плечами – промолчал. А Симка, склонившись, в рукавичку тихо сказал:

– Поп. Сейчас к Федьке.

– А что ему здесь? – Я даже растерялся. – Зачем он сюда?

– Может, крестить кого...

– Как это крестить, если и церковь закрыта?!

Витя усмехнулся:

– Церковь! А в бане не хошь!

Дедок тем временем уже поднялся из впадины Лисьего оврага в деревню. Мы на расстоянии так и сопровождали его на лыжах. И действительно, свернул он к Фединому двору.

Диво дивное, пока мы тащились усталые, пока постояли на лыжах посреди улицы, из деревни в наш конец уже бежала хлопотливая бабенка: она что-то несла, покрытое полотенцем, что-то прижимала рукой – и все бегом, торопко, так и загребала ногами снег.

Это чья бежит такая
Вдоль деревни, вдоль села?!
То ли скачет, то ли плачет,
То ли просто весела! —

пропел Симка и добавил:

– Во как – уже унюхала.

– Ждали, поди, – сказал Витя. – Ну, так я поеду. – И развернул лыжи к своему крыльцу.

Выбежал Федя – и тоже в спешке: шапка набок, сам нараспашку и руки вразмашку. Побёг в деревню – и все-таки успел шепнуть:

– О, ехор-мохор, завтрия крестить – у нас в баньке...

Осадистые сумерки густели – и только от снега исходил свет. В избах уже зажигали керосиновые лампы; затаивали собаки, прежде чем спрятаться во дворах – пора и нам расходиться.

И мы разошлись. И не видели, не знали, что и в этот сумеречный час деревня зашевелилась, ожила: стукали двери, скрипели мосты, бабы спешили из избы в избы – молчком, шепотком, украдкой: батюшка пришел, раннюю отслужит, апосля и крестить станет... С вечера и воды принесли, и баньку вымыли; и стесненно заходили в избу, чтобы получить благословение – батюшка в черном подряснике, с наперсным крестом...

Я знал, что болтать на ветер о том, что в деревню пришел поп, нельзя – опасно для всех: и кто пришел, и кто принял. Но ведь дома – не на ветер, можно и сказать и обо всем спросить. И я спросил:

– Мама, я крещеный?

– Что попусту спрашиваешь? Знаешь, что некрещеный.

Да, я знал об этом, но мне хотелось узнать:

– А почему?.. Все крещенные, а мы с Митей – нет.

– У нас в городе и попов не было. Да мы их и не искали.

Я заметил, что отец, развернувшись от стола, следит за мной поверх очков. Наконец он усмехнулся и сказал:

– Потому и не крестили, что жили в басурмании. А что это тебя озаботило?

– Так, ничего... Поп пришел в Смольки. Завтра крестить будет – в бане.

– Вот оно что – деревенщина разгулялась, без попа жить не могут. – Отец поднялся со стула и, попыхивая козьей ножкой, пошел по горнице взад и вперед. – Ты не слушай вахлаков деревенских. Не для того революцию делали, чтобы снова попам кланяться. Бога с бородой нет. Бог – природа: вода, воздух, солнышко – все вокруг... Был бы Бог, как же бы Он допустил такую войну! Половину взрослого населения перебили – или Бог этого хотел? Тогда такой Бог никому и не нужен! Ваньку валять не надо... Вот Семен накрутит им винта.

Я молчал, видимо, насупившись. Отец беспощадно разрушал мои связи и отношения с друзьями, а я этого не хотел.

– Федул, что губы надул? – мама тоже усмехнулась. – Давай и тебя в бане окрестим... Поп ведь зачем идет? Ему деньги нужны. Здесь подработает – в Ратунино пойдет.

– Ага, да его, если хотите знать, в тюрьму посадить за это могут!

– И правильно сделают – не мутит воду, – уже постукивая счетами, пробубнил отец.

Меня так и передернуло. Хотелось сказать... но что – тотчас сообразить я не мог.

Утром проснулся предателем, меня угнетала вина, как если бы я донес на попа в милицию. Печалью сжимало сердце, когда, как нищий с сумой на плече, я стукнул ногой в дверь и позвал:

– Федь, Федя, в школу айда!

Обычно он уже поджидал меня, но на этот раз после затяжного молчания Федя предстал в дверях, как масляный блин, в праздничных штанах и рубахе.

– Ехор-мохор, мы не пойдем! Спросит Наталья – скажи что-нито. – И тотчас перешел на шепот, но и шептал он восторженно: – Служил батюшка службу... А теперь трех крестит... Айда, глянь-ка на иконы – во!..

Нет, не предатель я, не повинен ни в чем! – как солнцем осияла меня мысль и стало по-прежнему легко – даже горечь во рту исчезла... Мы нырнули в избу, где, кроме Манечки, никого не было. Заглянули в Мамкину комнату, в боковушку. Возле задней глухой стены стоял стол, а иконы, которые мы с Федей привезли, очищенные и обихоженные, светились на стене – и все тот же знакомый страх сковал меня перед этими неземными ликами, страх, о котором никто, кроме меня, не знал.

– Во! Батюшка сказал: молодцы – и заплакал. – В боковушке было накурено ладаном, и Федя все повторял: – А ты нюхни, нюхни – это, чай, ладан, не махра... Я туточки стражничаю, не то беда может... С улицы замкнусь, а ход у меня через лаз во дворе...

Было о чем рассказать! Мы, наверное, целую неделю обсуждали этот необыкновенный день... Казалось бы, все обошлось гладко, но тогда, уже на следующий день при встрече, председатель Семен сказал Мамке с угрозой:

– Что, опять устроила поповский притон! Последний раз предупреждаю: вызову милицию, и пусть они с тобой разбираются. Чего молчишь?! – грозно выкрикнул председатель, но и после окрика Мамка не сказала ни слова.

Мамка

Я долго не знал, как ее зовут – Мамка и Мамка. Но как-то раз услышал – бабы называли её Катей-монашкой. И опять же – почему монашкой? Я так и спросил:

– А почему Мамку монашкой зовут?

– Ты что, парень? – Федя весь так и вздернулся. – Монашка она и есть. Еще и меня не было на свете, а Мамка уже монашкой была, туточки недалеко, где-то за Муромом. А коли разогнали монашек, закрыли и разграбили монастырь, она где-то и молилась. А война началась, тятеньку нашего на войну забрали, Мамка в Смольки и приехала. – Федя вздохнул и закончил смиренно: – Говорит: вот Манечку взамуж выдам, к тому времени, может, что изменится – тогда в монастырь и уйду...

Надо же, Мамка – монашка! Для меня это было настолько неожиданно, как если бы Мамка вдруг оказалась попом. Монашка – ведь это значит, это значит... Но я не знал и не мог знать, что это значит. Ясно было одно: Мамка-монашка поднимает круглых сирот, до которых ни председателю Семену, ни государству нет никакого дела. И пока Федя с Манечкой не вырастут, Мамка их не оставит.

Слабо!

Витя Петров и братья Галяновы оказались заядлыми катальщиками с гор. Они и выросли на склонах Лисьего оврага. И когда я впервые вместе с ними взобрался на дальний склон и глянул вниз – первое, что подумалось: ну, здесь переломаете и ноги, и лыжи. Снега еще не намело, и всюду торчали стебли полыни и чертополоха. А прилегающий к деревне склон был покрыт мелким кустарником... Я только и успел ахнуть, когда из-за моей спины точно сорвался под гору старший Галянов. Палок в руках у него не было, зато к носкам лыж была привязана тонкая веревка, и Вася как за вожжи держался за нее. Не успел я и дыхания перевести, а он уже был на дне оврага. Отступил в сторонку и крикнул:

– Давай! Лыжня готова!

Витя приземлился на лыжах – и тоже в момент оказался на дне оврага.

– Боюсь! – дурашливо закричал Симка и, повизгивая, тоже скатился. И только когда уже лыжи остановились, бухнулся на бок.

– Давай! Гоже! – закричали они в один голос.

А у меня от страха и голова закружилась.

– Палки, палки позади держи! – Симка засмеялся. – Что ли, слабо?!

И я поехал – само понесло. Только и запомнил, что лыжи разъехались. С середины горы я уже кувыркался... Мне помогли подняться. Из носа текла кровь, на лбу горела ссадина, но зато лыжи были целые. Меня отряхивали, подсказывали, что я не так сделал, почему упал...

Вот тогда-то я и решил, что кататься с гор научусь не хуже чем они. С того дня после школы я убегал в Лисий овраг, и там один учился не падать.

Кто кого?

Иногда и на буднях Витя уходил на конный двор из школы, не заходя домой, и пропадал там до вечера. Если его коняги были в стойлах, он надевал на них уздечки и выводил со двора. Здесь скребницей и голиком он чистил их тощие бока, где-нибудь раздобыв для них сенца с соломой. И вечно голодные коняги грустно косились на Витю, мотая головами, чуткими губами быстро перебирая сено. Они узнавали Витю издалека и нередко тихо ржали, когда он только еще входил в конюшню.

Так было и в этот день. Одна лошадь работала, а вторую Витя вывел за ворота. Напротив, в коровник, привезли корма, и пока бабы там перебранивались, он стянул охапочку сенца, бросил коню в плетенку – и начал скоблить трудягу. Он уже добрался щеткой до брюха, когда возле ворот появился председатель Семен: стукнул в окошко сторожки, где обычно дежурил старый конюх, и пошел в коровник. Когда же он возвратился, Орлик уже нетерпеливо перебирал копытами, запряженный в легкую кошевку.

То ли настроение у председателя было плохое, то ли так уж одно к одному, но начал он с того, что у него плохой кнут. Ударил Орлика кулаком в бок, отругал конюха и велел ему добавить в торбу овса, а в кошевку сена. Конюх отпустил уздцы и пошел выполнять распоряжение. А Орлик, оставшись без удержу, тотчас полез грызть прясла³³.

– Чего не стоит! – крикнул председатель Семен и стегнул коня кнутом по ногам.

Орлик захрапел, засучил задними копытами. Председатель взялся было за вожжи, но Орлик мотнул головой так, что и вожжи вырвал из рук.

– Ну, холява! – И еще раз жегнул по ногам, и уж совсем бездумно полез через передок кошевки за оброненными вожжами.

И когда он их уже подобрал, а из ворот вышел конюх с торбой, Орлик вновь рванул вожжи, председатель Семен было осадил его, но Орлик отмахнулся копытом, лягнул, угадав прямо в лицо председателю. Он даже не вскрикнул – опрокинулся навзничь в кошевку. Долю минуты еще видно было, как лицо его точно раздвигается, распадается – и глаза залеплены сорванной кожей. Но уже в ту же минуту разможенное лицо залилось кровью.

Старый конюх молча поднял ноги председателя в кошевку, подобрал вожжи и пустил Орлика к Правлению колхоза, к фельдшерице.

Через полчаса в окровавленных бинтах на том же Орлике председателя Семена увезли в районную больницу.

– Вот те и пустопляс, – завершил свой рассказ Витя.

И всех нас охватил болевой страх: так и представилось – кованым копытом да в лицо.

³³ Прясло – приспособление из жердей для сушки сена.

Поджигной

Во время войны любой второклассник знал, как сделать и мог сделать поджигной – бескурковый самопал. Было бы из чего делать! И сколько же бед случалось с этими поджигными! Но война есть война – дети тоже учились стрелять... И когда я, катаясь на лыжах, впервые увидел в поле метрах в трехстах играющую лису, а сначала мне показалось, что и играет-то она с зайцем – уж такие замысловатые прыжки она делала! – первое, что я подумал: «Вот бы из ружья бабахнуть!». Понятно, на таком расстоянии и ружье бессильно, но ведь в детском возрасте и из рогаток можно звезды сшибать. Ружья не было и не могло быть. Поджигной!.. Теперь уже и не помню, где я достал главное – медную толстостенную трубку диаметром в детский палец. Свинца и вязкой проволоки дал мне Федя. На второй день я уже испытал свое изделие. Пороху, понятно, не было. Со спичками проблема, а ведь на хороший заряд – почти коробок спичек. А что такое коробок спичек в 1945 году?! Тогда еще из кремня высекали искры, этим и запаливая скрученную и обожженную вату. Хорошо, если на такой случай попадались эрзац-спички – на них столько горючей серы, что одной пластины на заряд бывало достаточно... И все-таки я зарядил по всем правилам – с пыжами, с тремя шляпками от гвоздей вместо дробы! – и отправился на лыжах за Лисий овраг.

Мороз. Солнце. Искры от снега. И по окоему поля вдали тот самый орешник, куда я ходил со своими товарками. Как и накануне, лиса выделявала прыжки, только теперь я углядел, что играет она не с зайцем, а с лисой же, которая не прыгает, но припадает к земле... Дыхание перехватило – что делать? Стрелять – без толку! Ехать во весь рост на сближение – убегут лисы, и все дела. И я решил ползти на лыжах. Высвободил ноги из лыжных ремней, лег на лыжи и начал загребать руками, как веслами. Метров сто так и прополз. Весь в снегу и азарте! Наконец решил стрелять: снял варежки, вытянул из кармана поджигной и спички. Все было на месте, но в кармане тоже снег! Не беда – сдул. Нацелился – чирк коробком, чирк! – не загорается. И пока возился, пытаюсь и сырые спички зажечь, лисоньки мои помахали хвостами и убежали в орешник.

Я поднялся, сунул поджигной в карман, и только теперь понял, что весь мокрый и начинаю леденеть. Особенно леденели руки и лицо. И в варежках – тоже снег. Скорее домой! Но скоро не получалось – и далеко...

– Э, парень, ехор-мохор, погода, погода! – Федя подбежал ко мне и засмеялся. – Ты что, в снегах купался?! И поморозился весь – и нос, и щеки... Черпай снега – три руки! – неоспоримо распорядился он. – А я тебе мордуси потру. – Федя прихватил на свою варежку немного снежку и начал осторожно растирать мне щеки и нос. – Во, елдыжный бабай, дома холодной водой умоисси – и на печь!..

Целую неделю нос и щеки шелушились, как от загара, и не терпели холода. Но это был не последний из моих смольковских подвигов.

Снеги белые...

И пошли снеги, белые, чистые, пушистые снеги. Обмякли морозы, присмирели ветры – по всему свету, казалось, снег, снег и снег. Через неделю снегопада все изменилось – и деревню нельзя было узнать, и люди сделались неузнаваемыми. Смольки утонули в снегах по самые окна; крыши под жухлой соломой как будто платками батистовыми повязались: гладкие, ровные, белые. И стелется дым из труб – погода... Пробивают тропочки в снегу первопроходцы – от избы и до избы, чтобы за водицей под гору к незамерзающему ключу. Несет баба на коромысле ведра, а они по снегу волокутся. И кажется – люди сделались маленькими. Школьники по грудь из тропы выглядывают.

С этой поры и начинается в деревне зима, до этого была зимняя присказка. И приходит такое чувство или осознание, что отныне жив будет колхозник летней своей заботой. Точно пожары по утрам в окнах изб – пламя русских печей. А в печи что? Картошка, морковь, капуста, грибки, засушенные осенью, хлеб из картошки и трав с горстью муки. И со стороны баба ничего уже не принесет, только то, чем летом запаслись, заработка никакого.

Крутится из труб дымок, стелется по снегу – жива деревня, ждет, когда паспорта начнут выдавать, раскрепощать, когда колхозы распустят – Жуков во время войны такое обещал, когда налоги-поборы с воздуха отменят, – ждет, но без надежды. Идут снеги, и как будто ложится деревня в зимнюю спячку, чтобы выжить.

Но отяжелеет снег, осядет, вновь ударят морозы – и отзовется деревня скрипом полозьев и звоном голосов. И тогда дымы из труб взвьются столбами вверх, согревая низкие ярые звезды.

Время дум и молитвы. Но надо и перезимовать.

Живой огонь

Отец уходил в город и нередко два-три дня не возвращался. Зимой в молочном пункте работы было меньше, но с утра до вечера мама с Нюрой работали и работали. Мама говорила, что без отца на сливном легче и спокойнее. И если я приходил к ним в такие дни, то меня непременно усаживали за стол и давали в миске творога, политого сливками или молоком. Иногда бывал хлеб или сочень. Так что, когда отец уходил или уезжал в район, я из школы домой шел через молочный пункт.

Уже издали я увидел, что из трубы вместе с дымом как будто выплескивается огонь. «Пожар, а они и не видят!» – первая мысль. Бегом я ворвался в домик и закричал во весь голос:

– Вы чего?! У вас горит, а вы и не видите!

– Где горит? Что горит? – Обе смотрели на меня с удивлением.

– Айдайте на улицу!.. Во, пощелет!

Теперь уже из трубы сплошняком вырывался огонь.

– Батюшки, что же делать?! Что горит-то?!

– Может там, на чердаке, и горит!

– Да туда и не залезешь – лесенки нет... Давай мы тебя посадим – ты и посмотришь, что там...

Они подняли меня к лазу, и я легко вскарабкался на чердак. Света здесь не хватало – и это усилило впечатление: длинный боров³⁴ от двух топок, мне показалось, зловеще гудел, и через сквозные щели между кирпичами тонкими лезвиями выхлестывал огонь. Но ведь там гореть нечему!

– Крыша не горит! – крикнул я. – В борове огонь, между кирпичами хлещет!

– Что же делать?

– А что делать? Огонь – значит, заливать водой!

– Давайте воды, я тут сейчас! – распорядился я.

И ведь послушались, подчинились – что значит страх и беспомощность!

Мама с табуретки подала полведра воды. Я из-под ног взял какую-то палку, легко сковырнул с борова кирпич – и до испуга растерялся. Как дикий зверь из клетки – из борова вырывался огонь! И тогда мне представилось, что это – огненное живое существо, хищное и разъяренное! Огонь рычал, казалось, сейчас и метнется в лицо... Однако замешательство было лишь секундное. Я схватил ведро и вылил воду в разъяренный боров: захрапело, зафыркало, взметнулся пар – и вновь огонь, но как будто уже не такой ярый.

– Еще воды! – закричал я не своим голосом.

И началась работа. Я и в другом месте вскрыл боров – и уже минут через десять из дыр валил только пар. Победа!

– Все! Затушил! – кричу.

– А ты что там, разворочал, что ли?

– В трех местах.

– Так кирпичи на место и заложил с глиной – знаешь как!

Я знал эту науку. Мы с мамой во время войны целиком плиту сложили... Мне подали глины в ведре. Я окунул кирпичи в воду и заложил их на место с глиной, да еще замазал щели, откуда вырывался огонь.

– Батюшки светы! – Мама и руками по бедрам себя стукнула. – Вымазался как!..

И благодарные хозяйки добродушно засмеялись.

³⁴ Боров – дымоход в трубе.

Когда возвратился отец, и мама, похваливая меня за подвиг, рассказала ему о случившемся, отец прямо-таки презрительно глянул на меня и сказал:

– Сажа горела... Сажу водой не тушат – соли в трубу бросают.

«Бросишь в боров, если из каждой щели огонь прет», – с досадой думал я, а сам ждал, что он хоть слово доброе скажет, хотя бы одно слово: молодец. Не сказал, лишь криво усмехнулся.

«Вот так люди изнутри сгорают, когда накопится», – думаю я сегодня.

Звезды горят...

– На Миколу-то зимнего звезды, чай, горят: старые сгорают, а новые зачинаются, – сказал мне Федя. – А ты выгляни на Миколу после полночи – вот и узришь...

И я гадал: как бы мне дожидаться полночи или проснуться! Очень уж хотелось увидеть горящие звезды. Я просил маму разбудить, но она лишь усмехнулась и сказала:

– Отстань и не выдумывай.

И все-таки я увидел запылуночные звезды на Николу-зимнего – мне просто повезло! Разбудил отец: он громыхал чем-то – искал топор! – и громко ругался. Я выглянул из-за шторы: на столе засвеченный фонарь, отец возится за печкой, здесь же стоит мама. Тихо спрашиваю:

– Мам, а что?

– Да ничего – спи, – мне показалось, что она усмехается. – Поросенок в хлеву орет, волка в гости зовет...

Действительно, на дворе, в запертом хлевушке, надрывался теперь уже большой поросенок... И тут-то я вспомнил, что с вечера приготовил одежду и валенки на случай, если проснусь среди ночи...

– А ты куда? – цыкнула мама, когда следом за отцом и я сунулся в дверь.

– Я сейчас, я только на звезды гляну.

– Ну и этот с ума сходит – оба сумасшедшие, – с раздражением напутствовала она.

Тихо и очень морозно. В избах ни огонька. Небо низкое, черное и до озноба холодное. И по всему небу звезды – крупные и яркие. Они действительно как будто искрились. Близостью своей и пленяло небо. Я глазел, запрокинув голову, и в носу у меня точно склеивалось и перехватывало дыхание... Отец, видимо, успокоил поросенка – и он замолчал. И вот в этой наступившей тишине где-то рядом, за дворами, завязался пронзительный вой, даже не вой, а смертельный стон. «Кто это? – подумал я, но уже тотчас сообразил: – Волки!» – И ознобом прошла по спине дрожь. Я оглянулся по сторонам и побежал в избу. Закрыл на задвижку дверь – и редкий, а может быть, и единственный случай: я почувствовал себя счастливым. Как ведь хорошо, когда у тебя есть теплая и крепкая изба, где никакой волк не страшен... Быстро разделся и по приступкам скакнул на печь.

– Эх, мама, как волки-то воют! – Мама промолчала. – А сколько часов?

– Часы одни. А время – два часа. Спи давай.

«Да, уснешь тут!» – почти с возмущением подумал я, но, увы, не слышал, когда отец пришел со двора.

Временщик

Говорили, что председателя Семена из районной больницы увезли в областную. И никто не знал, когда он оттуда возвратится. Его заменяла бригадирша, которая, в конце концов, наотрез отказалась от этого дела. И тогда приехал инструктор из райкома и созвал собрание колхозников. Бабы в один голос и потребовали, чтобы председателем стал Иван Петров. А Иван Петров разводил руки в стороны и защищался:

– Бабы, да вы куда это меня мобилизуете? За что?.. Да туточки отвечать надобно, а я и не умею. А потом, глядишь, пощелкают на костяшках, да и объявят: Иван пропил. А я и не пью на сегодняшний день, от военного похмелья никак не избавлюсь... Вы уж, бабы, пощадите меня. Из района пришлют – с того и взятки гладки...

А бабы свое:

– И пропивать нечего! В нашем-то амбаре вошь на аркане да блоха на цепи! А и на то кладовщик есть, Петрович, у него все записано. Ты, Иван, у нас один правский мужик – вот и берись за вожжи. А Семен возвратится – тогда и поглянем на него...

И инструктор баб поддержал. В конце концов Иван Петров капитулировал, сдался с уговором – временно. Аннушка по этому случаю и платок черный на голову повязала: экая ведь беда – на петлю согласился.

Дунюшка ратунинская

Сначала Манечка простудилась. Потом ей заложило горло, поднялась бредовая температура. Федя бегал в другой конец деревни – там у двух хозяек доились коровы: молоко кипятили с травами и поили Манечку, но и это не помогало. Надо было идти за таблетками в район... Вот тогда-то впервые и услышал я о Дунюшке из Ратунина. На перемене в школе Федя сокрушенно сказал:

– Вот бедуха – Мамка уж в город собралась за таблетками – Манечка-то и вовсе не глотает... Дунюшка из Ратунина обещалась... Эх, парень, сколько всего она знает! И помогает всем. А почнет рассказывать былички, так и уши развесишь.

– Что хоть за Дунюшка? – спрашиваю.

– Дунюшка Ратунинская! – я же сказал: махонькая, горбатая, а за ней не угонись... Ехор-мохор, да ее все знают! И в районе, поди, знают! – И Федя, наверное, для подтверждения, крикнул: – Эй, Симка! Дунюшка Ратунинская, чай, обещалась!

– Ага, коли что – гукни! – отозвался Симка и пропел:

А скоро Дунюшка придет —
нам былички принесет...

– Хошь ли, и тебя крикну?! Что-нито расскажет, чай, упросим.

Маленькая, с горбом на груди и на спине, на лицо Дунюшка была строгая и сердитая. В темном платке и в темной шерстяной кофте, она, как заводная мышка, бегала из передней в горницу к Манечке и обратно. Манечка пластом лежала на широкой деревянной кровати, в обычные дни на которой никто не спал.

Мы с Симкой тихонько занырнули в переднюю: бросили пальтушки и шапки на пол, стряхнули с ног тяжелые валенки – и на печь! И теперь выглядывали оттуда как свои. Федя, нескладно выпячивая живот, топтался в передней на случай Дунюшке подмогнуть.

– Сода хлебная есть ли? – Дунюшка поворачивала голову, точно была она у нее сама по себе – вращалась. – Налей отварной водицы в кружку и соды чайную ложечку без горки разведи... Давай, сама я. А ты фасоли найди, мы ее фасолькой и поцелим.

– А много ли фасоли? У нас только на семена – пятнадцать штук.

Дунюшка засмеялась, будто курочка заклохтала:

– Да одну фасолинку, покрупнее, рябенькую...

Пришел Витя – и тоже к нам на печку.

Тем временем Дунюшка потребовала чистую пеленку, и мы видели, как она повязала Манечку, будто в парикмахерской; рядом на табуретку поставила содовую воду и с фасолькой в руке подступила к Манечке, такой беспомощной и беззащитной.

– А теперь, Манечка, фасолину и проглотишь – все у тебя и пройдет. – И загородила Манечку своим горбом. Федя тянул шею, чтобы видеть, а Дунюшка уже приказывала: – А ты глотай, глотай... давай-ка я тебе и пособию...

И в тот же момент Манечка закашлялась. Она точно захлебывалась и вскрикивала – и, наконец, заплакала. А Дунюшка молча все что-то делала. Когда же она отстранилась от Манечки, мы невольно поскакали с печки на пол: вся пеленка Манечкина была заляпана кровью и сукровицей, а Манечка все кашляла и отплевывала густую слюну с кровью. Федя было полез к сестре на помощь, но Дунюшка резко осадила его:

– Затмись!.. Подай чистую тряпицу, воды отварной ковшик – живо!

Уже через несколько минут все было убрано, и Манечка со слезами уркала в горле содовую воду и сплевывала в тряпку. Наконец Дунюшка отерла ей лицо и только тогда сказала:

– Ай да фасолька рябенькая!..

Дунюшка запалила лучинки, опустила в самоварную трубу, туда же углей древесных и торжественно объявила:

– Будем пить чай – с подушечками!.. А вы не гомонитесь – Манечка спать будет.

И действительно, уже вскоре она уснула. А мы все пили завар зверобоя с подушечками – и какие же вкусные были эти подушечки! – на всю жизнь.

Первым пропел Федя, причем подталкивая в бок Симку:

– Дунюшка, быличку расскажи...

– Дунюшка...

Она ополоснула под краном поющего самовара чайную посуду, вытерла стаканы полотенчиком, сняла с себя и повесила на место передник и улыбнулась:

– Будет по-вашему: расскажу. Полезайте на печь – и я к вам... А случилось это в нашей деревне совсем недавно, во время войны...

И потек рассказ о детях-сиротах, о святителе Николае и Рождественском подарке.

Звери

Мы и не знали, сколько всякого зверья, спасаясь от смертельного наката войны, сбежало в наши небольшие перелески. Говорят, целыми колониями селились звери. И теперь, когда снегом заметало все тропы и следы, когда и на лыжах трудно было пройти по лесу, и даже лисы утопали в снегу по брюхо, а морозы в ту зиму нередко лютовали – и зверью приходилось трудно. Особенно зайцам! Ведь зайца подстерегали и волк, и лиса. И бедолаги жались к человеческому жилью, где редкие собаки по ночам не выбирались из дворов, а люди не имели страшного огнестрельного оружия. Зайцы устраивали лежанки в огородах – так мы считали, что глубокие ямы в снегу зайцы рыли для лежанок, хотя, скорее всего, они искали прокорм. Такие же лежанки были и на пойменном капустнике, а там зайцы грызли от срезанных кочанов кочерыжки. Лежанок в нашем огороде было много – все заслежено заячьими лапами. А вот зайца живого ни одного в огороде я не видел. А петли мои из суровых ниток, какие я раскладывал около лежанок, оставались неприкосновенными.

То в один, то в другой двор забирались вредливые лисы – их смущал запах и бормотанье кур. Но кур на ночь закрывали в хлевушки, а в сильные морозы и вовсе не выпускали.

Волки не нападали ни на деревенские дворы, ни на людей, но загулявших собак не щадили – и по ночам можно было послушать их угрожающую тоску. Они ждали своего пиршества.

Пожар

Когда мы прибежали в другой конец деревни, дом Бутняковых горел уже вовсю. Не знаю, как друзья, а я пережил животный страх перед стихией огня: страшил даже не внешний огонь, а тот, который, разъяренный, метался внутри избы. Кроваво липкий, с тягучими черными разводами, огонь как будто хищно кружил и затем с легким стоном и треском вырывался через оконные проемы наружу – мне чудилось, что там, в огне, мечутся живые люди.

– Эх, елдыжный бабай, – как заклинание проговорил Федя, – все, поди, сгорело и ничего не осталось... А где Бутняковы-то?

Сулицы и со стороны огорода стояли бабы – и только пламя огня двигалось на их лицах. С обеих сторон соседствующие избы, казалось, тоже горели: в первых сумерках озаренные огнем соломенные крыши исходили паром – точно дымились. Возле изб внизу и на лестницах рядом с крышей дежурили мужики – кто с ведром, кто с багром. А Михаил безногий деревянной лопатой бросал и бросал на парящую крышу снег, уже на лету таявший. И никаких пожарных. Ясно было, тушить и пытаться нечего, лишь бы соседи не пыхнули. Благо, что не было ветра.

– Ехор-мохор, и где они! – негодовал Федя, пробираясь через жиденькую россыпь баб.

А вот и Бутняковы: они стояли все рядом – бабушка, в теплой кофте и с двумя иконами в руках; мать, одетая по-рабочему, казалось, кусала себе руки; Зоя, наша одноклассница, в пальтушке и без платка, и брат, второклассник Васек, раздетый, с одеяльцем на плечах – он плакал от страха и горя. Возле них кучкой лежали какие-то тряпки – значит, в чем были, в том и выскочили, а маманя с наряда прибежала.

Едва мы приблизились к Бутняковым, как в доме обрушилось перекрытие: пламя и искры снопом взметнулись над горящим домом – бабы ахнули, заплакали, и только Бутнякова-старенькая, будто окаменелая, так и стояла неподвижно с иконами в руках.

Говорили, что председатель Иван уезжал в район, чтобы выпросить в долг сена – уже тогда было ясно, что скоро начнется падеж скота. Но в райкоме на него прикрикнули:

– Это твоя забота! А за падеж ответишь.

Одни говорили, что после этого Иван хлопнул дверью, а Витя уверял, что его папанька сказал:

– Я доложил вам – вы и отвечать будете! – и уж после этого хлопнул дверью.

Развернул Орлика – и айда домой. А дома Бутнякова вдова погорела. На Орлике и подкатил к пепелищу. Соседние избы устояли. В одной из них и приютили детей. А старшие потерянно бродили вокруг сгоревшего жилища. Председатель Иван даже не окликнул погорельцев... Никто не знал, что и как думал он, но, наверное, так рассудил: «Если моя забота о кормах для скота, то тем более след позаботиться о людях». И к утру уже принял решение.

Во втором колхозном доме, под тесом, размещался агитпункт. Дом большой, с капитальным разделом, но без русской печи. В одной половине изредка показывали по частям кино, во второй половине – длинный стол со скамьями, а на столе свежие газеты и политические брошюры. И два шкафа с партийной литературой.

– Вот я и решил, – сказал председатель Иван фронтовикам, – солдатской вдове и детям ее передать половину этого дома... Ты, Михаил, и до войны с печками знался – сможете ли, парнишки, печку русскую сляпать? А деревянные дела я одолею: прорублю, окосячу и дверь повешу, и мосток небольшой с крылечком – и ладно будет. А кирпич и глину на пепелище изьем – баб и наряжу...

И «парнишки» согласились: сляпаем печку для вдовы солдатской. И сляпали. Через две недели Бутняковы вселились в добротную половину агитпункта – и тогда уже поклонились

председателю Ивану в ноги и пошли по миру: кто что подаст – кто кружку, кто ковшик, кто чугунок, а кто-то старое одеяльце или одежонку. Погорельцу все впрок.

А еще через неделю приехал из райкома инструктор и потребовал восстановить агитпункт на прежних его площадях. Председатель Иван отказался это сделать.

– Если хотите выгнать на мороз солдатскую вдову с детьми и с его матерью – сами и выгоняйте, а я не стану.

И Бутняковых не тронули. Так и жили под одной крышей с потеснившимся агитпунктом.

Новый 1946 год

Первую настоящую елку я увидел до войны, до школы, когда был совсем еще мелким. В каком-то учреждении, в каком-то небольшом зале много маленьких детей – и все они такие нарядные, и я среди них, кажется, один шебляк³⁵. И мне, помню, впервые стало стыдно своей нищеты. Все мы толкаемся перед закрытыми двойными дверями – двери белые, с большими желтыми ручками. И вот приходят Дед Мороз и Снегурочка, что-то кричат – и открываются эти двери: в толпе детей и я оказываюсь перед елкой! И это волшебное дерево с множеством игрушек, вспыхнувшее вдруг огнями, произвело такое впечатление, что я за все время на елке так и не смог прийти в себя. А когда другие взялись за руки и с песней пошли хороводом, я в сторонке лишь восторженно прыгал на одном месте...

А потом война: были всякие елки – в школе лиственные без листьев деревья с игрушками, дома – веник, привязанный к ножке перевернутой табуретки, увешанный клочками ваты.

И вдруг – настоящая, свеженькая, с гирляндами смолистых шишек елка, которую и привез на Орлике председатель Иван! От одного запаха такой елки голова кругом!.. Наряжали елку учителя и девочки. Игрушек навешали слишком много, игрушки старые – ни электричества, ни свечей не было, а под уличным светом из окон елка как будто спряталась и поблекла, сгоронилась. И мы единодушно решили: лучше бы оставить без игрушек, только ваты набросать вместо снега... И все-таки ёлка – красавица!

Но уже скоро стало заметно, что только запаха для полной радости маловато. Наталья Николаевна, нарядная и полная, как индюшка, повела вокруг елки второклассников, а мы, четвероклассники, должны были взяться за руки и двигаться в обратную сторону вторым кругом и петь. Но друзья мои усмехались и не хотели браться за руки и водить хоровод. А без наших на хоровод не хватало рук. И тогда в основном девочки влились к второклассникам и запели: «В лесу родилась елочка... и много, много радости детишкам принесла».

Вот радости-то и не было. Сказать, что все изнуренные голодом, как мы в городе во время войны, – было бы ложью: полухлеб с мякиной, с травой и картошкой все-таки был, случались чечевица и пшено, и даже молоко для забелки щей и картошки, а уж об овощах, свежих и соленых, и говорить не приходилось; и мясо случалось то в одном, то в другом доме – баранина, свинина – чаще солонина, но бывала и мороженая. С такой едой можно бы и не впадать в уныние... И даже я, одиннадцатилетний, понимал, что дело не только в еде... Деревня осиротела, деревня без мужчин; деревня бесправная, беспаспортная – подневольная, работающая за палочки-трудодни, которую, как говорили, по почкам бьют и плакать на дают.

Конечно же понимала это и опытная Наталья Николаевна: она скоро переключила нас на подвижные игры – и ребята очнулись, ожили и даже засмеялись, чем Наталья Николаевна тотчас и воспользовалась:

– А кто нам свою любимую песню споет?! Кто смелый?

И я решил быть смелым. Вокруг сверстники и младшие – они с удивлением и выжидающим смотрели на меня. Теперь-то я понимаю, что для них мое соло было непривычным и странным. Но я петь любил и по-детски умел, поэтому и запел:

В далекий край товарищ улетает,
За ним родные ветры вслед летят...

Я вытягивал мотив, проговаривал не совсем понятные и самому слова – и до конца не сбился, хотя в конце уже понимал, что песня моя летит на ветер – не воспринимается слуша-

³⁵ Шебляк – от «шебель» – обноски.

телями. Почувствовал я и другое – появилось изначальное отчуждение, я как будто вновь стал чужим. И друзья не признали моего пения, песня для них была чужая... Это уже теперь так я думаю, а тогда смутился, даже растерялся, и все-таки решил: пусть сами лучше споют – слабо!.. Конечно же я не подумал, что сделал одноклассникам вызов – и на этот вызов кто-то должен был ответить. Кто мог ответить? Конечно же только Симка!

Он вышел в круг с опущенным взглядом, в застиранной с заплаточками на локтях рубашонке, с непокорными, торчком, волосами, и без предисловий ударил пальцами правой руки по струнам невидимой балалайки – в моих ушах, по крайней мере, балалайка так и зазвенела:

Вот и кончилась война —
Все надеги лопнули!
Плачет маменька одна —
Тятеньку ухлопали...
Ты не вой, волчица, в поле,
На крутой горе в норе!
Без тебя, волчица, тошно
На родимой стороне.
Эх, под голову подушку,
Под картошечку – назем!
А за елку председателю
Стакашек поднесем! —

и Симка притопнул ногой.

Это была его победа: все хихикали, не закрывая ладошками ртов. И только Наталья Николаевна не хихикала, она взяла Симку за плечо, вывела за дверь и, видно было, что-то ему там внушала.

Каникулы

Во время каникул Федя изо дня в день занимался хозяйством. Вычистил он и хлевушок у Милки – здесь же зимовали четыре курицы с петухом. Зима лютовала, и куры слепли в темноте. Кормового зерна не было, а вареная картошка быстро замерзала; куры слабли и садились на ноги. Для Милки было и сенцо, и веники.

Глядя на Федю, и я принялся за хозяйственные дела: выскреб смерзшийся настил у поросятка и положил ему свежей соломы. Но оказалось, хозяйственник я был плохой и заработал нагоняй, что поросенок полдня пробыл на морозе... Других хозяйственных дел не было, и когда Витя позвал меня на конный двор, я охотно согласился.

Конный двор занесен и завьюжен снегом, и надо было привыкнуть, чтобы различать в стойлах лошадей. Лошадей было немного, но и тогда половина из них не могла держаться на ногах – их уже подвесили на помочи: на пожарные брезентовые шланги или на вожжи с подкладкой. И животное так в полуподвешенном состоянии и существовало. В полуподвешенном потому, что лошадь все-таки доставала копытами до промерзшего настила и могла стоять, но когда ноги отказывались держать, подламывались, лошадь повисала на помочах. Мне показалось тогда, что все лошади на помочах, глядя на людей, плакали своими печальными глазами. Это были уже не лошади, а мешки с костями, и только иней на их ноздрах и слезы в глазах говорили о том, что они до сих пор живы.

В коровнике, куда мы пришли поклянчить сенца для Витиных коняг, дела обстояли не лучше. Здесь было еще холоднее, и многие истощенные коровы тоже болтались на помочах. Они тоскливо помыкивали и опускали головы на кормушки, видимо, не в силах держать собственную тяжесть.

Когда мы чистили коняг, Витя, вздохнув, сказал:

– Недели через две начнется падеж.

– А что это – падеж? – смутившись, спросил я, хотя и понимал, что это значит.

– Падеж...дохнуть начнут. Сначала кони, потом и коровы. От голода и холода идохнут. Летось в это время пять коняг...

И я легко представил, какдохнут от голода эти изработанные лошади; и как оставшимся в живых тяжело будет впрягаться, чтобы затем тянуть и тянуть все лето на подножном корму.

Я помог Вите почистить его подопечных, но с тех пор ни в конюшне, ни в коровнике зимой не бывал.

Вечером в сочельник

– Вот это сочельник! – побрякивая и охая, говорил отец, впуская в избу клубы разбойничьего холода. – За тридцать!

Я перекатывался с бока на бок по теплой печи; мама возле керосиновой лампы на руках что-то шила.

– А ты где до сих пор был? – спросила она, откладывая шитье, чтобы достать из печи еду.

– Или отчитаться? Где был, там меня уже нет, но буду, – отец так и дышал сивухой. – Ты разворачивайся: что в печи – на стол мечи и помалкивай.

– А что помалкивать? У шинкарки и сидел...

– Сидел, сидел... и даже лежал, – пока еще незлобно огрызнулся отец, но уже чувствовалось: накаляется.

Он все еще отдирает и бросал под ноги сосульки с коротких усов, когда с улицы в окно громко постучали. Мама выглянула через замерзшее стекло:

– Цыгане, что ли? Целый табор...

– Какие цыгане? Иди открой да посмотри.

– Нет уж, ты иди открой – ты все-таки мужик.

Отец выругался и вновь надел на голову свою кубанку³⁶. Через минуту на мосту послышался мерзлый топоток ног. Дверь открылась, и с новыми клубами мороза в переднюю вошли шестеро незнакомых мне подростков от семи до тринадцати. Последним вошел отец и остановился на пороге.

Нежданные гости выглядели с мороза пронзительно жалкими – нищие или погорельцы. Однако нищенского страдания на их лицах не было. У самого младшего мальчика на груди висела иконка, в руках старшей девочки на аккуратной палочке разноцветная восьмиконечная звезда. Кто мог из них, хлопнули трижды рукавичками в ладоши, и все они запели:

– Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума...

Свесившись с печки, я наблюдал за ними, как за пришельцами из иного мира. Но мне, помню, было радостно: во, пришли с мороза и поют! Но главное, и отец им как будто подпевал!.. Гости пропели тропарь и стояли молча, задрав носы кверху. Мама в недоумении развела руки: что, мол, я должна сделать? Выручил отец:

– Я там конфет кулек привез – отдай им.

Мама замешкалась: ей, видимо, как и мне, было жаль конфеты-подушечки, мы даже не отведали их. И отец сам прошел к буфету, достал граммов триста конфет в сером бумажном пакете и вручил его старшей девочке:

– На всех и раздели...

Девочка кивнула в знак согласия, они развернулись и гуськом потекли в дверь... Удивительно! Никто из них не произнес ни единого слова: вошли с мороза молча, молча в мороз и ушли.

И мне так захотелось с ними вместе, что я даже спрыгнул с печи на пол. Кто они такие? – на этот вопрос мне никто так и не ответил. Морозом опалило мои босые ноги, когда отец открыл дверь.

– Сарынь, на печку! – приказал он. – Или славить захотел? Это и завтра можно – завтра Рождество.

Тогда я ничего не знал об этом празднике – все было для меня ново и даже таинственно. Не знал я и того, в чем смысл славления.

³⁶ Кубанка – плоская, чаще всего каракулевая, шапка.

А еще я заметил, что у мальчика с иконкой на груди один запятник валенка худой и из дырки торчит обледенелая тряпка.

Вот и все, чем запомнился Рождественский сочельник в Смольках. И Рождество осталось неприметным, и только Федя сказал:

– Во, елдыжный бабай! Пост кончился – Мамка щи с бараниной сварила. Скусные! Ужика, в обед отведаем.

Святки

Святки в первую очередь ознаменовались тем, что Симка пришел в школу в вывернутой драгой шубейке, не хотел ее снимать и бесконечно припевал:

Эх, святочки,
Мои Васяточки!
Я сегодня припою
На головушку свою:
Эх, святочки,
Мои Васяточки!.. и т. д.

И ему, видать, так было радостно и весело, что даже Наталья Николаевна без гнева выпроводила ряженого из класса, после чего он под окнами припевал и приплясывал...

А потом средь бела дня волк, преследуя загулявшую собаку, которая все-таки ушмыгнула во двор, выскочил на улицу, да так и пробежал по деревне неспешно, лишь иногда показывая клыки на крики: «Волк! Волк!».

– Чуют, знать, скоро падеж, – сказал Витя.

И действительно, спустя два дня пала первая лошадь.

Витя плакал...

А еще Святки были отмечены неожиданной оттепелью – на три дня, даже бабу из снега можно было скатать. Но затем вновь ударили морозы, и снег как броней покрыло настом. Можно было кататься на лыжах – не увязнешь, не провалишься.

Волки

Все-таки выстрел из поджигного грезился мне охотничьей победой. И я вновь зарядил свое оружие. На этот раз завернул поджигной и спички в тряпицу, чтобы не отсырело. Но когда поднялся на дальнюю сторону оврага, то никаких лис в поле не увидел. Зато, глянув вдоль по оврагу в сторону леса, возле мосточка, через который мы переходили за орехами, увидел свору собак – все они что-то драли. «Вот я их и пугну!» – решил я, весомо ощутив в кармане свое грозное оружие. Я съехал по спуску наискосок, сразу приблизившись к собакам на добрых пятьдесят шагов. Здесь овраг имел небольшой изгиб – и за этим изгибом собак не было видно. Развернул свою «пушку», приготовил спички и пошел на сближение с выставленным вперед поджигным, решив по выходе тотчас и бабахнуть, представляя, как разбежится собачья свора. Интересно, что они там дерут?

Я вышел на прямую – теперь свора была совсем недалеко! – и шаркнул коробком по запалу: раздался хлопок, красное пламя вырвалось из трубки, поплыл дымок – на просторе это получилось так беспомощно и хило, что и на выстрел-то не похоже, какой-то пшик. И все-таки одна из собак оглянулась – и сердце мое оборвалось, голова закружилась, в горле перехватило дыхание. В один момент я понял все: волки! Стая волков, пять или шесть, рвали вывезенную и брошенную здесь дохлую лошадь. Мгновения было достаточно, чтобы серый понял, что никакой опасности нет. Он облизнулся и вновь обратился к пиршеству – что-то прихватил и потянул, потянул, но никак не мог оторвать... И эта картина осталась в памяти на всю жизнь: все уткнулись мордами в падаль – грызут, а один что-то тянет, рвет и пятится, выгибаясь... И я стою, остолбенев от страха. Наконец развернулся и пошел, пошел по пологому склону в гору, к деревне, и чем выше поднимался, тем напряженнее дрожали мои ноги. Легко представить, если бы эти братки отвлеклись от пиршества. Оглянулся я лишь тогда, когда окончательно выбрался из оврага – до крайнего дома оставалось шагов сто: волки продолжали свое дело, и даже донесся визг – что-то не поделили.

Поджигной и спички остались на дне оврага.

А на следующий день, когда все мы возвращались из школы, навстречу нам попался охотник с ружьем. Вербка от лыж, как у Васи Гальянова, была переброшена через плечо, а на спаренных широких лыжах лежал на боку, как живой, волк с окровавленной шеей, с закушенной палкой во рту. О, это был зверь, матерый, и даже в повергнутом состоянии дерзкий и красивый до страха: густая чистая шерсть с подпалиной, и зубы – гладкие, белые и очень крупные, – они вызывали озноб.

Видя наше любопытство, охотник остановился и начал сворачивать сигарку.

– Вот этот на меня и поглядывал, – говорю и сознаю, что заикаюсь.

Федя объяснил: на чьих угодьях охотник отстрелит волка, там и берет в колхозе овцу или пятьсот рублей деньгами – вынь да положь.

Крещенский сочельник

Утром друзья мои объявили, что в школу не идут – сочельник Крещенский. Сколько я ни пытался узнать у них, что такое сочельник, так они мне и не объяснили.

– Святая вода будет, батюшка и посвятит – оставайся. А коли что, так на печь заберемся, – заговорщицки нашептывал Федя.

– А что, поп пришел?

– Вечор батюшка и пришел. Оставайся и захвати бутылку чистую. Святой водицы и нацедим. Год на божнице стоит – и ничего, как слеза, и скусная...

И в каком же смущении пребывал я тогда! Что я думал и как – это уже забылось, зато хорошо помнится, что делал и как поступал в неведении.

Друзьям своим я вовсе не говорил, что некрещеный. Мне казалось, скажи я об этом, враг и стану чужим. И засмеют или начнут дразнить: «Турок черный некрещеный...» А кому охота выслушивать дразнилки. Так хоть парень и парень.

И дома: родители без Бога.

Мама только отмахивается: никакого Бога нет!

– Дедушка твой с бабушкой, помню, до революции в церковь всегда ходили, особенно дедушка, – не раз уже по моему настоянию повторяла мама, – и меня с сестрами брали: ходили, крестились и даже иногда причащались. А потом революция: Бога нет, царя не надо. Стал дедушка на всякие там диспуты ходить, на собрания безбожников – и убедился, что Бога нет... Пришел как-то пьяненький с диспута и говорит:

– Все, мать, Бога нет! – снял иконы, изрубил топором и самовар вскипятил. – Видишь, не разорвало. Если Он есть, пусть мне руки отсушит или еще как накажет. А нет – садись чай пить... – На этом Бог у нас и кончился...

И как-то забывала мама уже и тогда, в конце и после войны, добавлять к рассказу о дедушке:

Последний ребенок, единственный сын, поэтому любимый, у дедушки с бабушкой родился, когда ему было около шестидесяти лет. Он и решил застраховаться в пользу сына. Вот и отчислял ежемесячно часть зарплаты – лет тринадцать. А кончилось тем, что все накопления во время войны пропали. И начал дедушка писать Сталину жалобы... А потом как-то привезли его со службы с ушибами. Говорит: столкнули с лестницы молодые парни – тогда ему было около семидесяти пяти... И в том же году его увезли, как мы тогда называли, в сумасшедший дом. Дом этот находился неподалеку, так что мы ходили смотреть на дедушку, как он безумствовал за железной решеткой: кричал, размахивал руками – что-то все доказывал... Через полгода он утих – и его взяли домой... О дальнейшей судьбе деда мама рассказывала восемь лет спустя после войны: в год смерти Сталина умер и дедушка – она и ездила хоронить его.

Он так тихо и жил. Лишь рука отнялась правая. А последние несколько лет извелись с ним. Как только недоглядят, так он и уйдет из дома. Знакомые под окнами и кричат: «Дедушка-то ваш возле церкви просит!» И церковь-то не углядишь – без креста и обозначения, а он найдет – фуражку снимет и стоит, позорит родных... Вот и бегут бабушка или уже женатый сын, чтобы увести старика от позора...

А мой отец, если и вспоминал о церкви, то лишь как о своем неразумном детстве и школе. Он как на дрожжах пучился на революции...

Вот и складывалось так, что и дома, и на улице – все для меня были недоступными, чужими, как и я для всех – чужой. Нередко я себя так и чувствовал...

А Федя все говорил и говорил, щурясь, рассказывал, как простая вода становится святой, крещенской водой, и как она лечит целый год, если ее пить по чайной ложечке утром натощак.

Председатель Иван

Испекла Аннушка подовый³⁷ хлеб, вынула из печи, спрыснула водицей, покрыла полотенчиком, чтобы горбушка пообмякла, и оставила на лавке остывать. Сел председатель Иван обедать, да и подавился хлебом – кусок в рот не полез.

– Это что же за хлеб, если в горле застряет? – сказал он.

– Дак все такой едят, нету другого, – ответила Аннушка. – Мучицы осталось две пригоршни. Вот и не идет в горло, мякиной и задирает.

– Что ли и на масленку такие драники будут? – Иван усмехнулся.

– Ваня, да какая масленка! Уж года, чай, три блинов праських³⁸ и не едали...

Нахмурился Иван, закручинился.

После этого разговора и собрал председатель Правление колхоза и огорошил правленцев:

– Дадим людям из семенного фонда пшеницы: кило за пять картошки – пусть эту картошку хранят у себя до посевной. На сколько хватит семян – засеем зерном, остальное – картошкой.

Все молчали, и только Михаил с деревянной ногой прикрыл глаза и усмехнулся:

– Иван, – сказал он, – всех нас за Можай и угонят за такое дело.

– Значит – не соглашайтесь! А я своей волей – один! Одного и за Можай... Пусть крупчатки³⁹ намелят – на масленку блинов испекут. Мякина-то в горло не лезет...

Так и объявил: за десять килограммов пшеницы – пятьдесят килограммов картошки в посевную. Колхозная картошка в хранилище к тому времени вся померзла, даже на семена не осталось. И расписывались бабы в обязательстве кто на сто, а кто и на двести килограммов картошки – у кого сколько ртов.

Мельниц ни ветряных, ни запрудных на Суре не осталось, зато в каждом дворе были ручные жернова. Изобретение не из лучших, но при нужде и такая машина в дело: как сковороды с высокими прямыми краями, и в эту «сковороду» вкладывается тяжелый литой жернов с ручкой. Насыпал зерна и крути жернов за ручку до тех пор, пока крутится. Помолотое зерно в сито и просеивай. Из отсевок добрая получается каша.

И заскрипели, заповизгивали в избах ручные мельницы. Ай да Иван, добрый председатель! Федя с гордостью показывал пузырьчатые мозоли на ладонях. А Симка по такому случаю припевал:

Эх, мука моя, мука,
Крупчаточка-мучица!
Все мозоли на руках,
А на губах горчица!..

³⁷ Подовый – круглый хлеб, пекут без формы, на поду, то есть на нижней части печного горнила.

³⁸ Праський – правский, настоящий, хороший.

³⁹ Крупчатка – крупчатая мука, белая.

Масленица

Масленицу ждали как заветного праздника. Название очень уж заманчивое, масляное – скорее бы! Мы даже не задумывались над тем, а что же сбудется. Масленица – и все тут!

И наступила масляная неделя! Начало марта, и зима уже сорвалась с тормозов – покати-лась под горушку на своей ледянке. Еще выпадали снега с метелями, но снег уже тяжелый, осадистый. А лютых морозов и вовсе не было. И лоснились наши масляные рты. В каждой избе на неделе разок блины пекли – и мы по очереди ходили друг к другу в гости.

Уличной Масленицей распоряжался дядя Михаил с деревянной ногой. Уже в начале недели он распорядился строить из снега перед спуском к школе две крепости: одну крепость для девочек, другую – для ребят. Мы вырубали из наста тяжелые блоки и строили крепость, которую так просто не одолеть. Помогали и девочкам, потому что они рохли – у них крепость не получалась.

В Прощеное воскресенье пораньше сошлись мы к своей крепости. И каково же было наше возмущение, когда в крепости у девочек мы увидели моих товарок с подружками, а возле нашей крепости увивались Вася Галянов с товарищами. А с улицы уже глазели бабы!

– Елдыжный бабай! – с негодованием вскричал Федя. – Мы строили, а они на готов – захватили! Бомбить их, ехор-мохор!

Мы дружно похватили снежки и почли метать в захватчиков. Младшие с визгом побежали в укрытие. Мы ринулись в атаку, но не тут-то было! Товарки встретили нас таким огнем, впору самим в крепость. Особенно отличалась Зина: она не суетилась, но влепливала снежками прицельно – и все по сопаткам. Но тут за нас встряли Вася с товарищами. И распалилась настоящая свара! И было в этой сваре что-то заправдошное: молчком, сопком, без смеха... И когда на Орлике подкатил командующий с деревянной ногой, бой шел не на жизнь, а на смерть. Он поднялся во весь рост в кошовке и призывно прокричал на все Смольки:

– Славяне, на штурм! Брать в полон живыми!

И все мы, и младшие, и старшие, пошли напропалую! Хватали визжащих сверстниц и волокли в свою крепость. Зато мои товарки вмиг скрутили Васю с товарищами и утанули в свою крепость – а они, похоже, и не противились.

Бабы, наблюдавшие за сражением, от души смеялись.

– Полонянок в кошовку по три с охраной – отвезем в Лисий овраг! – гремел командующий.

И мне представились – волки! Но нет, он шутит! И потянули своих пленниц к санкам. Они тоже уже не пищали, только отмахивались от наших липучих рук.

И началось катание на Орлике: в один конец Смольков одних, в другой – других! Все мы задыхались от восторга: как на крыльях носился Орлик! Из-под его копыт летели в нас тяжелые ошметки снега – и скорость отзывалась свистом в ушах!

Но это не все! Нас ожидали блины со сметаной! Аннушка из кастрюли выкладывала по блину на подставленные ладони, а Настя деревянной ложкой из миски сдобривала блин сметаной! Вот уж блины, так блины! И кто только их пек! Блинами угощали всех – и детей, и матерей! – пока не кончились... И это не все! Появились дровешки, ледянки – и понеслись с горушки мимо школы – вплоть до поймы! И за все время однова кому-то лишь нос расквасили.

Командующий с Витей привезли на Орлике соломенное чучело зимы. Воткнули кол с чучелом в снег и подожгли. Так что перезимовали – и все живы!

Великий пост, молозиво и молитва

– Вот и Великий пост, да ведь все одно – что пост, что не пост. – Федя шмыгнул носом и вскинул голову. – Один ехор-мохор.

Наступил Великий пост,
Поджимай, Федянька, хвост!
А если в брюхе будет пусто,
Выгребай тогда капусту.
Мамка баит неспроста:
Не прожить нам без Поста! —

подхватил Симка.

Они шли впереди с Витей в обнимку, и оба скользили по обледенелой дороге. Федя и ухом не повел на припевку, как обычно, он жил своим ладом и вел свою стезю.

– Молозиво, чай, будут хлебать, а мяско да яйки – квелые... Манечка! Давай сумку! – крикнул он отставшей сестре и приостановился, выжидая. – Что молозиво? А это когда вот корова отелится, то у нее поначалу для теленочка молоко идет густое, жирное и скусное, потому как с кровью – его и надобно бы спаивать теленку. А ныне скармливают малым, а то и сами хлебают как простоквашу... Я не особенно люблю молозиво – приторное. Через недельку уже ничего... Великий-то, а потому как он до-о-олгий, до самой Пасхи... Пост, потом Пасха – солнышко играть почнет, яйками кокаться станем. Чье раскокается – тот и проиграл. И травка полезет – Милку выводить стану...

И так изо дня в день Федя говорил и говорил – перед праздником о празднике, в пост о посте, то есть на тему дня, и, казалось, он никогда не повторялся. Иногда я удивлялся: откуда все это ему ведомо?!

Я и тогда уже догадывался, но не мог ответить на вопрос, а чем же отличается Федина жизнь от моей, от нашей – ведь отличается! Что-то понял, когда спросил его:

– Федь, а ты тоже молишься?.. О чем ты, а?

Он в ответ и губы раздул:

– Так обо всем. Чего надобно, о том и прошу. – Федя помолчал, как-то робея сжался и вздохнул: – Вот о тятеньке с маманей, чтобы и мне с ними на том свете вместе быть...

– Ты что, сумасшедший?! На каком свете? Закопают вон – и черви слопают!

– Не зымай, не зымай – не выкусишь... пусть и слопают, железо, чай, и то гниет. А душеньку-то не съедят, ехор-мохор!..

Тогда я впервые, наверное, согласился: кто-то из нас спятил, и не определить просто так – кто?

Арест

В тот день с утра смольковские бабы так и тянулись к Фединому дому: в избу входили – и не выходили. Когда же пресекся этот ручеек, Федя выскочил на улицу, глянул, щурясь, в одну сторону, в другую, после чего повернулся ко мне и позвал рукой:

– Хватит дозорить, айда в избу...

Скакнули на крыльцо – и дверь за засов! В одно мгновение – и на печи. В это время в горнице и началась служба – Соборование. Священник в черном подряснике с кадилом в руке обошел комнату и остановился лицом к вынесенным из боковушки иконам. Молящихся было до двадцати – и ни одного мужика. Повязанные платками, бабы как будто стали все одинаковые – присмирившие и даже как будто робкие... Вот и я тоже оробел: будто делалось при мне что-то противозаконное, сейчас случится непоправимое – стрелять начнут! Но нет, батюшка что-то читал или говорил, а все ему мирно подпевали. А то начинала читать Мамка. Потом бабы опустили на колени – и священник всех их осенил крестом... На столе перед иконой стояло блюдо с пшеницей, и в это зерно была поставлена единственная свечка. Мы видели, как батюшка налил в лафитничек чего-то из коричневого пузырька и поставил рядом с блюдом на стол. Что-то он проговорил, что-то припас – и вновь долго читал по книге... И вот, когда он дочитал и взял в руки лафитничек и кисточку, в дверь на мосту с улицы кто-то громыхнул, видимо, ногой. Федя так и сорвался с печи. И уже в ту же минуту в переднюю ворвался Витя. Даже не снимая шапки, он заглянул в горницу:

– Мамка, подь сюда...

Мамка вышла, одетая во все черное, и склонилась к Вите – и уже тотчас закусил губу и быстро подошла к выжидавшему священнику. Выслушав, он медленно развернулся, поставил на стол лафитничек и сказал:

– Одевайтесь и спокойно расходитесь... не все вместе. Если минует – известим.

Бабы, проворно крестясь, скоро разобрали свою одежку и тихо потекли в дверь – как и не было: кто-то по домам, кто-то по соседям – переждать. И уже через несколько минут в избе остались батюшка, Мамка и Настя Курбатова. В боковушку занесли иконы, поставили на место стол, батюшка снял подрясник и крест – убрал в саквояж – и сунули саквояж к нам на печку. И сели, растерянные, втроем к столу в передней.

– Отец Николай, не лучше ли и вам уйти от греха подальше... хотя бы во двор схорониться, – тихо сказала Мамка.

– Схорониться, мать Серафима, это можно бы. На случай. Но ведь если это за мной, то все равно возьмут – значит, им известно, что я здесь, значит, им удобнее взять меня здесь. И если даже уйти из Смольков – в Ратуние или в Никольском, а то и на проселке возьмут.

– И все-таки поостеречься не грех...

– Батюшка, надо уходить – через задворки и на дорогу, по насту и хорошо, – решительно сказала Настя и даже поднялась на ноги...

Но батюшка и тогда пустился в объяснения...

Мы втроем на печи за занавеской ничего не могли понять. Мы даже не знали, что сказал Мамке Витя, почему прервали службу, почему разошлись и кто это может взять отца Николая.

А пока батюшка отговаривался и объяснял, в окно постучали – не заставили долго ждать.

– Откройте, мать Серафима, это за мной, – тихо сказал отец Николай, поднялся и благословил обеих.

Мамка вышла на мост и уже тотчас возвратилась – следом за ней в переднюю вошли милиционер и второй в штатском.

– Майор Порханов! – уже с порога, шапки не снимая, будто выкрикнул в штатском и, выставив руку вперед, потребовал: – Предъявить документы!

– А это на каком основании? – все так же тихо спросил батюшка.

– Что?! – крикнул майор. – На основании ордера! Встать! Руки на стену!

На печи за моей спиной заплакала Манечка.

– Не кричите – детей испугаете! – враз осипшим голосом сказала Мамка.

– Тебя, попадья, не спрашивают – и молчи, до тебя еще очередь не дошла... А хочешь, и тебе сейчас ордер выпишу – не погляжу, что чужие на руках. В детдом отвезем.

– Поостерегитесь, майор, Бог ведь долго терпит, да больно бьет, – с недоброй усмешкой сказала Настя.

– Вот вас и буду бить! – воскликнул Порхатов и нахально засмеялся. Он как будто даже развеселился. – Васильев, обыщи попа... Вот они и документы, при себе. А вот и у меня при себе – ордер на арест! Читать, гражданин поп, не разучился... Одевайся и пошли – далеко ехать.

И увезли отца Николая на паре гнедых... Спустя полгода до Смольков дошли слухи, что осудили батюшку на десять лет лагерей строгого режима.

Ревизор

– А вот и к нам приехал ревизор, – сказал вечером отец и с досадой бросил полевую сумку на стол. – А я и без него уже ревизию навел – и все до копеечки учел! – И засмеялся. На этот раз был он не очень пьян, поэтому и засмеялся. – Ревизор – мужик свой: водку садит без закуски. Авось и договоримся. Вот она, хрюшка, и выручит!

Мама сложила руки на груди, как будто силилась решить неразрешимую задачу. С досадой и с презрением усмехнулся отец.

– Ну что ты? Не напрягай мозги, все равно ничего не придумаешь... Наверно, не посадят твоего тирана. А вот от поросенка нам останутся... уши.

На следующий день после полудня отец привел ревизора обедать. Был он, действительно, странноватый – маленький, толстенький, нескладный, как будто сутулый и спереди и сзади, легкий на ногу, подвижный и разговорчивый. Он бесконечно задавал вопросы: «А щи будут с мясом?.. А картошка с мясом в горшочке?.. А горилочка е?..» И на всякий ответ отца одобритительно повторял: «О, это хорошо!» Он и за столом удивил: ел слишком быстро и много, а водку не глотал, а выливал в горло, как в трубу, хлопал глазами и повторял: «Это хорошо!».

Провожал отец ревизора уже вечером, но и тогда он неумно все повторял: «А горилочка е?» Отец разводил руки: кончилась. И на это ревизор отвечал: «Это хорошо».

Предписание было такое: *в трехдневный срок погасить растрату на сумму 1 273 рубля 80 копеек. Квитанцию банка предоставить ревизионной группе в указанный срок. В противном случае дело по растрате будет передано в следственные органы районной прокуратуры...*

Поросенку, за которым и я ухаживал, к которому привык и который к тому времени стал уже настоящим боровом, наступил последний день. И когда утром я увидел, какие два ножа готовил отец, у меня и голова пошла кругом. Это ведь сейчас в нашего Борьку отец и вонзит громадный кинжал!.. И меня охватил нервный страх. Что это было! Я зажимал уши ладонями, закладывал пальцами, кричал и лез под подушку, но не визг даже, а утробный рев разрывал мои перепонки. И такое продолжалось не менее получаса. Я и сам ревел, как под ножом.

Весь день отец возился со свиной тушей. А на следующий день увез на рынок. Дома осталась свиная голова, опаленная шкура и четыре ножки – и я мысленно клялся, что ничего из этого есть не стану. Отец представлялся мне палачом – о, эти ужасные ножи!

Квитанция на указанную сумму растраты была сдана вовремя.

Кем быть?

Накануне весенних каникул Наталья Николаевна провела с нами беседу на тему «Кем быть?». Для начала она выразительно вслух прочитала стихи Маяковского «Кем быть?» – и сделала вывод:

– Хотя все работы и хороши, но выбирать надо на свой вкус, по своему призванию, по себе. Вот я и хотела бы послушать – кто кем желает стать? Особенно старшекласники. У вас выпускной год, вы сдадите экзамены и получите свидетельства об окончании начальной школы. Дальше, если будете учиться, а учиться надо, то уже в средней группе, – и вам уже надо знать, кем вы станете. Вот и поговорим о призвании, помечтаем. Ну, кто первый? – Она улыбалась прямо-таки счастливо, будто мы действительно могли сорвать, как яблочко с дерева, каждый свое будущее.

Мы смотрели на нее и невольно тоже улыбались, но молчали.

– Что молчите? Кто кем будет? Скажи, Бутнякова, кем ты хотела бы стать?

Зоя побледнела, потупилась и тихо сказала:

– Учительницей...

– Учительницей? Будешь учительницей! Учись хорошо – и будешь... А почему учительницей?

Но на этот вопрос Зоя и не пыталась ответить... Симка толкнул меня в бок и шепнул:

– Парень, сболтай что-нито. Ино упахтает она всех...

Я встал и, наверное, дурашливо ухмыльнулся, а такое ничего доброго не предвещало – это уж я знал по начальным классам.

– Я, Наталья Николаевна, давно когда-то мечтал стать морячком...

– А что же теперь?

– Раздумал. Морячок утонуть в море может, а чего бы ради тонуть в море?

– Как, чего ради? Матросы и за революцию погибали, за власть народную, и воевали...

– Уполномоченным по заготовкам, – шептал Симка и больно щипал меня за ногу.

– Отстань, гусек... Революция давно была, теперь уж и мировая война кончилась... После войны я и надумал стать уполномоченным по заготовкам.

– Почему же так?

– А что! Приду в деревню: Марья, шерсть сдавай, Валька – молоко неси, Федька – яйца сдавай! А самому и сдавать ничего не надо – очень даже гоже!

– Не сдирают кожу, – шепнул Симка так, что, наверное, и Наталья Николаевна услышала.

Все засмеялись, но невесел был этот смех. Засмеялась и Наталья Николаевна:

– Нет уж, Сережа, в таком случае оставайся лучше морячком... Еще кто смелый?

И вдруг – как будто прорвалось! – посыпались ответы со всех сторон.

– Кем быть? Мало ли кем! – ворчал Федя. – Без пачпорта никем и не быть... А хотенье что... Да и едино в колхозе – колхозница.

Умышленно ли сказал он так или случайно, но, помня, что Наталью Николаевну прозывают Колхозницей, после напряженного затишья все так и покатились от смеха!

Наталья Николаевна постучала по столу карандашом.

– Что же, ветеринаром – это замечательно...

В конце концов, появились и врачи, и агрономы, и лесники, и даже летчики. А когда наговорились сполна, Наталья Николаевна покачала головой и сказала:

– А кто же полеводом будет, кто животноводом, кто же в колхозе станет работать?

Вопрос, как говорится, не в бровь, а в глаз. Никто не высказал желания стать колхозником. И наступило томительное молчание, воистину нечего сказать.

– Вот и не подумали, кто же в колхозе станет работать.

- За палочки-то никто, чай, и не станет, – на удивление всем заговорил молчун Витя.
- За палочки никто не работает – работают за трудодни.
- А какая разница?
- Трудодни оплачиваются.
- Знамо дело: полмешка муки в год! Так и в других колхозах.
- Как это – и в других! Где лучше работают, где урожаи выше – там и оплата выше...

Была война, поэтому и трудно. И в городе на ребенка триста граммов хлеба выдают по карточкам. – Наталья Николаевна, видать, перенервничала и уже не давала Вите и слова сказать. А он смотрел на нее – и на лице его отражалось полное безразличие ко всему. – Ты видел, как убирали картофель – сами же говорили: половина в поле остается...

– А и что собрали – все померзло в хранилище до единой картошины! – уместно напомнил Симка.

И Наталья Николаевна, наверное, поняла, что в таком споре и с детьми не справится. Она неестественно улыбнулась:

– Хорошо, я соглашусь – тяжело. Но ведь долг перед Родиной все равно остается. Работать в колхозе надо?

– Надо, – согласился Витя. – А вот если вам ни карточек, ни денег, ни покоса не давать, а налогами обложить – вы стали бы учить или за коровами ходить стали бы?

Симка захихикал:

– Маменька, постой, постой – разговорец-от пустой...

А когда уже шли домой, он на всю улицу припевал:

А нарядилась, хоть куда,
Наталья, наша модница.
Только ведь одна беда —
И она колхозница!..

И грудь в крестах, и голова в кустах

Никто не знал – что, как и почему? Даже Аннушка с Витей толком не знали. Только в один день председатель Иван оделся в солдатскую форму и на гимнастерку одну к одной повесил награды и орден Славы отдельно. Сам запряг Орлика и укатил в район. Возвратился утром следующего дня. Да не один – с инструктором из райкома. В тот же день он сдал колхозные дела опять же временно бригадирше. Бабы гуськом так и потянулись к Правлению, каждая выплакивала общую заботу:

– Иван, да ты что удумал – не дал и оклематься...

Иван Петров или молча отмахивался, или со вздохом гудел:

– Эва, бабы, не своя воля...

Ясно было – мужика отстранили. Большинство колхозниц полагали, что за потраву семенной пшеницы.

– И что, голова, мы, чай, и еще бы по кулю картошки прибавили для откупа, – рассуждали они.

Какая-то часть были убеждены, что – за отца Николая. Иван и не пенял батюшке, а коли брать приехали, Витюшку подослал оповестить, а сам попридержал этих...

А некоторые думали, что за агитпункт.

Мы сочли, что это все за Витю – поспорил с Натальей Николаевной: и вот! Но так думали, наверное, только трое.

Вскоре Витя сообщил нам:

– Тятенька «лошадку» и струмент готовит: то ли в подряд, то ли куда собирается.

Но и здесь достоверного ничего не было. Достоверно лишь одно: Иван Петров работать в колхозе не хочет.

Минула неделя. И в новый понедельник Иван Петров в солдатских сапогах и в бушлате под ремень с большим баулом в руке ходко ушел по дороге в район. Возвратился в субботу вечером без баула. А в понедельник до света вновь ушел.

Так и началась новая жизнь солдата Ивана Петрова.

Квёлые

Как-то незаметно, исподволь, с приходом весны друзья мои становились все более вялые и как будто тоскующие или грустные. Федя чаще ворчал и жаловался на головную боль, Симка отказывался от улицы после школы – и реже стали слышны его припевки, а Витя хмурился и молчал; и только мне как будто жилось припеваючи, хотя и скучновато.

Заметил я, что и взрослые, ближайшие соседи, как будто нахмурились. Когда же я спросил у мамы, почему такое? – она прерывисто вздохнула и ответила:

– Квёлые люди, сил в организмах мало... Вот если бы у нас не было молочных продуктов и хлеба, мы к весне тоже поплыли бы. Или забыл, как во время войны: весна – и голова кружится, качает, весна – и тошнит.

Нет, этого я не забыл! Но ведь во время войны, нередко случалось, у нас кроме пайкового хлеба ничего другого не было. А у них овощей досыта! И какой-никакой хлеб... И вновь я спрашивал: ведь это так?

– А ты попробуй, какой они хлеб едят – трава да картошка. И жиров очень мало – слабость в человеке не сразу, она копится. Не сравнить с нашим военным голодом, они такого не знали и не знают. И сегодня на их харчах перезимуешь – и ничего не случится, а вот когда годами – человек слабеет, тоска душит и жить не хочется...

И все-таки еще долго я не мог понять полуголодного и полусиротского состояния деревни.

Мне оставляли на обед ко второму кусок отварной свиной шкуры, но я никак не мог себя заставить есть это блюдо. Ел щи, ел картошку с капустой, а вареную шкуру нес менять: Федя взамен давал мне Мамкиного хлеба, а Симка вилковой квашеной капусты. Капуста бывала и впрямь хороша! А Мамкин хлеб застревал в горле и очень уж горчил.

И все-таки я не понимал состояния деревни. И еще раз пришлось отвечать маме на мой вопрос:

– Вот так, сынок, и бывает непонятно – в голове не шевелится. Вроде бы немножко тво-рога, немножко мяса, хлеб – и достаточно: и уже сытый голодного не разумеет... А еще устали люди, для них война так и продолжается – только ждать им теперь некого и надежды никакой...

Как будто ясно, но все-таки главное оставалось непонятым.

Не понимала этого и мама.

Картошкин могильник

Ямы с картошкой вскрывали по нужде, случалось, и среди зимы. Но если прямой нужды не было, то делали это обычно в начале апреля, когда снег уже пошел, даже потек, но земля не оттаяла и не приняла талую воду. Так что если осенней водой не залило яму – все будет ладом. Понятно, не без ущерба – что-то подгнило, что-то подмерзло, – но такой ущерб и в подполье неизбежен. На вскрытие ямы собираются сродники или ближние соседи. Это для того, чтобы помочь, чтобы, скажем, десять мешков картошки быстро вынуть из ямы и перенести в сохранное место. Обычно картошку из ямы в подполье не ссыпали. Она шла на еду до новой и на продажу. Семенная хранилась в подполье, в тепле, на пророст.

Сошлись к Мамке с Федей на подмогу соседи, и Настя Курбатова пришла – шесть баб и нас столько же, старший Вася Галянов. Федя загодя заступом обдолбил холмик, наметил и вокруг очистил. И Мамка, осенив себя крестом, сказала:

– Господи, благослови... Вася, вскрывай...

Вася выжидал с пешней в руках – и начал обдалбливать земляную крышу так, чтобы и картошку не повредить, и земли в яму не крошить. Дыру пробили – вони нет, а это уже хорошо. И вторую пешню в дело. Только успевай заступом отгребать. Вот и сокрушили крышу, вот и опрокинули по частям. Выворотили подкладку из плашек – Господи, и соломка не почернела, и картошка не подмерзла, будто только что ссыпали. Торчит несколько гнилушек, так ведь не в убыток!.. И на душе радостно – как хорошо-то! И пошла работа: кто с корзиной, кто с ведром, а кто и с мешком – понесли один за другим десять нош. Отнесли по разу и мешок! Только успевай загружать. А гнилой и всего-то ведро набрали. Значит, можно будет продать и на обутку детям, и с колхозом за зерно рассчитаться, и в счет налога сдать, и самим до новой.

На следующий день сошлись у Галяновых: все те же, лишь сродники добавились... И когда еще пешнями долбили, что-то глухо отдавалась земля, и как будто холодом и тревогой из пробоин сквозило. А когда своротили горку, все и обнажилось – покрышка и солома смерзлись. Значит, с осени залило водой, значит, остались без картошки, значит, придется занимать у соседей, значит, на крахмал перегонять мороженую из ямы... А может быть, что-то и сбереглось...

И стояли понуро, точно вокруг братской могилы. Тихо стояли.

Меченый

Если меченый, то меченный кем-то. А вот кем? Попробуй определи!

Говорят, когда Бог творил человека, сатана тоже не дремал – и ён творил человека, чтобы на деле доказать свое право на соперничество с Богом. И у него получилась тварь. Но если волею Своею Господь сотворил по образу и подобию Своему – человека, то волею сатаны получилась лишь пародия – человекообразная обезьяна. Пародию сотворить ён смог, да только не смог вдохнуть в свою тварь Духа Святаго... С тех пор всякий творящий пародию на подлинно Божественное начало уподобляется верховному пародисту, по крайней мере, творит силою и научением своего учителя-пародиста. Всякий пародист – прежде всего ерник от сатаны. Здесь все понятно.

А вот как разгадать меченого? Ведь если внимательно поглядеть, то все вокруг меченые: у иного один глаз на нас, а другой – в Арзамас; а то руки ухватом свело; этот смолоду плешивый; а этому на плешь еще такой черный харчок наляпан, что уж ни с кем не спутаешь! Тут уж верно – шельму поместили. О меченых-калеченых уж и говорить не приходится. Так что по внешним приметам весь мир – меченые. А вот распознать эти меты, понять их, чьи они, можно лишь изнутри. Да только ведь не каждому в душу влезешь. Какое уж мерзкое чудовище в «Аленьком цветочке», а внутрь загляни – чистота и красота! Обратных же примеров, право же, не перечислить.

Ждали в Смольках нового председателя, и даже не мыслили, что грядет председатель Семен.

– Свят, свят, свят, – в животном страхе еле выговорила Настя Курбатова. – Неужто Семен? – И никак не могла перевести дыхание.

Председатель Семен и никогда-то не был красавцем, а тут предстал с такой образиной, что у Насти поджилки будто судорогой свело. Правый глаз у него в розовой пелене был точно вывернут; нос раздвоен, с красным рубцом с синими следами от швов; а губы и подбородок как будто и вовсе пережевало, а когда это зарубцевалось, подсохло, то и свело в куриное гузно. Словом, посади в ступу – полетит.

– Чего, Настя, не признала? – прогугнил председатель Семен. – Красюк я теперь...

И не подумал председатель, что отныне будут его звать Семеном Красюком.

Но это еще не все. Скоро проявилось, что копытом Орлика так сотрясло голову Семену, что даже колхозным председателем он уже не мог быть: думал он как будто наоборот, а коли думал наоборот, то наоборот и делал бы, а такой в председатели не годился. Да и как перед сельским миром ходить председателю с такой-то образиной! А уж если не председатель – и так можно.

Вот и восстанавливал Семен Красюк свое здоровье в Смольках. Уже по весне пристрастил рыбку ловить на Суре, да так ловко – завсегда на кукане⁴⁰ рыбу несет. Первой же встречной бабе и отдаст – ушицу сварить. И бабы охотно брали рыбу – благодарили. И по гостям пристрастился бывать, но лишь когда детей в избе не было, чтобы не испугать. А то и так при встрече остановится и покалякает. Понять его можно было, хотя и гугнивый и слюнявый. Он и при первой встрече с Настей покалякал, правда, она при этом больше молчала:

– Такой вот я, Настя, – продолжал Семен, – сам себя в зеркале не узнаю... Вот меня, как Бог черепаху... За тебя это, Настя... А ты не гневись, я уже расчелся. Думал, вот и не увижу Настю и не скажу...

– Чего не скажу?

⁴⁰ Кукан – бечевка, на которую нанизана рыба.

– Расчелся... Какая жизнь? Такая... А только по голове долго бить нельзя. Лежал и думал: а зачем – все зачем? И я зачем, и война зачем, и колхоз зачем – все зачем?

– Ты что хотел сказать-то?

– Прости, расчелся.

– Бог простит. Как чувствуешь себя?

– А как клоун в цирке – и кривляюсь.

«Пьяный, что ли?» – подумала Настя, кивнула и пошла восвояси.

Встретился он и с Мамкой, и говорил почти то же самое, а завершился разговор так:

– С попом не виноватый я. С тобой виноватый, а с попом не виноватый.

– Все мы виноваты друг перед другом, – уклонилась Мамка.

– Во-во... все виноватые – и я виноватый...

А через неделю привезли нового председателя. И каково же было удивление, когда оказалось, что и нового зовут Семеном, хотя внешне был он другой: высокий, узкий, плоский, с маленькой головой и с бабьим голосом. Был новый Семен хмур и ко всем обращался на вы. Так его и звали – Семен-второй.

Верба бела

– Летось не совпало, а так-то все и враз: Сура вспучилась, пойма в воде – вербы распушаются, а туточки и Вербное, – толковал мне Симка. – Вербы-то у нас по Суре сколь хочешь, а кругом вода. Вот и ходим за версту – только и там завсегда по воде...

Симка и на этот раз навел на досаду, я озлился и выкрикнул:

– И что ты мне: вода – по воде! Я и без тебя вижу – кругом вода! Ты мне скажи, что это за Вербное?

Симка и рот до ушей развез:

– А яшеньки и не знаю. Стебай к Федьке – он знает. А не то, так к Мамке. А я что, я и всего-то: «Верба-хлест бьет до слез! Верба бела бьет за дело!» – а боле ничего и не знаю. Праздник Вербное воскресенье, а что еще-то?

И в который уже раз – к Феде: растолкуй. И растолковал, как по нотам, на всю жизнь...

Сура – и речушка так себе. А разлилась за оба берега – на версту по лугам. Умыла пойму – и кочек не видно. У Натальи Николаевны половина сада в воде: у сливного пункта под окнами море. И талая вода из Смольков водопадами бурлила; и через Лисий овраг ни в каком месте не перейдешь – отовсюду к Суре потоки! И небо низкое, серое, пасмурное... Я смотрю на это, казалось мне, мощное половодье – и мне радостно от своевольной природы. «И почему лодок ни у кого нет? – думал я. – Сел бы и поплыл куда хочешь!» Теперь-то я думаю иначе: «А зачем людям лодки? Рыбу удить – с любого берега. Весной по лугам проплыть – чего бы ради?» Однако фантазии роились: и кто-то уже тонул – и я конечно же спасал на лодке; и плыли, плыли по Суре пароходы – как по Волге!..

По вербу мы собрались все, вчетвером. Вышли за деревню, да так по взгорку вверх по Суре и шли в сторону Ратунина. Снег заледевший и почерневший лежал только в низинах, на пойме вода и вода, а на взгорке ни воды, ни снега, и земля уже обветрилась и подсохла, и в летошней жухлой отаве⁴¹ уже проклюнулись и потянулись к солнышку листья травы. Всего лишь несколько градусов тепла, но уже не холодно – мы такую лютую зиму пережили! Друзья мои часто кланялись земле, что-то все срывали и ели. Оказалось, какие-то столбунцы.

– А ты жуй, мы их всегда жуем, – посоветовал Витя. – Особливо, если зубы кровят.

– К Пасхе за лучком пойдем.

– А вона и щавелек уже вылупляется!

– Потом за щавелем.

Я посмеивался, а они, казалось, любую травку тянули в рот. Наконец спустились к пойме: в лощинке шагов на пятнадцать была вода, а уже дальше высокий, непоименный берег, поросший кустарником.

– А как переходить будем? Может, дальше пройдем?

– Ага, до Ратунина.

– А вот так и будем! – Симка засмеялся, стряхнул с ног большие валяные сапоги с калошами-лягушками, закатал штанины, подхватил в руки по сапогу и пошел по воде. – Эхма, а под водой лед!.. Не! Не холодно!

Пока мы разувались да медлили, Симка был уже на сухом взгорке, обулся, притопнул и запел:

А мои дружки по воде,
Как уточки плавают!
Мне б соседку полюбить —

⁴¹ Отава – прошлогодняя трава после сенокоса, трава из-под снега.

Величают Клавою!

Мы так и покатались со смеха: Клава – соседка Галяновых, недавно ей исполнилось восемьдесят лет.

– Ты, парень, на красных веточках вербу режь, краснотал – дольше стоит, не осыпается, – и здесь подсказывал Федя.

Вербы действительно было так много, что уже через полчаса мы нарезали по большущему пучку, так что держать приходилось на изгибе руки. Но Федя жадничал – все резал и резал.

– Да зачем так много? – спрашиваю.

– Ехор-мохор, не все же сюда полезут!..

На обратном пути в воду лезть не хотелось. Но тут уж никуда не денешься – домой идем! И все бы ладом, да Федя поскользнулся, взмахнул рукой и выронил тяжелые сапоги в воду – смех и слезы.

– Елдыжный бабай! – ругался он и все старался вытряхнуть из сапог воду. Пришлось, однако, влазить в мокрые валенки. – Ехор-мохор, я попрыгче, я бегом, не то ноги задубеют! – И Федя неуклюже побежал.

Побежали и мы.

Вербное воскресенье

Все принесенные вербы мы отнесли Мамке: четыре громадных пучка – целое ведро веточек!

– Так надо, – сказал Федя, еле шевеля почему-то опухшими губами. Зачем Мамке – я не догадывался. И только на следующий день, уже отлежавшись, он объяснил мне: – Мамка молитву знает, и святой водицей вербы окропит.

Для меня эти таинства были не больше, чем сказка. Как сказка все это и увлекало. Дома мою уличную жизнь не контролировали, а часто – не замечали. Вольному – воля!

А накануне Мамка протопила баню. С березовым веником Федя напарился до ослабы. После этого Мамка напоила его зверобоем с мятой и подорожником – и он до воскресенья отлеживался на печи. И когда рано утром мы сошлись у Феде в передней, он уже фасонил: во как хворобу выгнал в баньке! Но по лицу было видно, что он все-таки прихварывает. Вялый был и Симка, кукожился. Все веточки Мамка с Манечкой перевязали в пучочки, они и ожидали нас все в том же ведре. Мамка осенила нас крестом и напутствовала:

– Ну так и идите с Богом – порауйте старушек. А станут угощать, смотрите, не отказывайтесь – это от доброго сердца...

Маршрут мои друзья знали отлично – это были или сродники, или одинокие женщины и старухи, уже не могущие сами сходить за вербой. Кто-нибудь из нас стучал в окно – и все вместе мы кричали:

– Верба бела!

Через минуту, погромев на мосту, появлялась хозяйка, как правило, всплескивала руками и восклицала – вроде:

– Ах, батюшки мои! Ангелы мои – вербочек принесли, родные! Слава Тебе, Господи! – И крестилась, крестилась торопливо и целовала вербочки и плакала. – И угостить вас нечем, милые...

Витя отмалчивался, а мы в три голоса защищались:

– Да нам ничего и не надо! Мы пошли...

– Вы что, вы что, парнишки! Погодите, что-нито и посмотрю...

Выносили то орешков-лещины, то конфеток-подушечек, то по куску пиленого сахара, а на одном крыльце даже по небольшому куску пирога с морковью. Все это мы, понятно, поедали до очередной избы. И так было весело, за похвалу, что ли, даже Симка, квелый с утра, как будто развеселился. А Витя разговорился, хотя мы его ни о чем не спрашивали:

– А тятенька сапер, с бригадой мосты и строит. Во, целый кулак денег принес – заработал... Забреют меня в армию, так я уж не возвращусь в Смольки – с тятенькой стану мосты строить.

– А как же без пачпорта? – это уже дотошный Федя спросил.

– Тятенька баит: скоро и паспорт дадут...

– Не дай ему паспорта, так он и раскидает их! – Симка засмеялся, но как-то увядающе засмеялся:

Тятенька плотник,
Я столяр:
Тятенька делал,
Я – стоял...

Так и обошли полдеревни. Останные три вязочки вербы вручили Насе Курбатовой. Она угостила нас сушеными яблоками-дичками. Ни в одном доме праздника не было видно, но лампадки в окнах отсвечивались. На обратном пути Симка вовсе закис, а Федя бодрился:

– А я, гляди-ка, оклемался... А теперича к нам айда – Мамка толочном обещала угостить.

Хворуны

Всю неделю Федя и Симка хворали. У Феди была верная простуда, у Симки хвороба тянулась совсем иная. Ни насморка, ни кашля, махонькая температурка, а он, обычно неуемный, целыми днями валялся на печи. Когда же дождались фельдшерку (а она жила неделю в Смольках, неделю в Ратунине), то фельдшерка предположила, что застудил Симка почки. Надо было везти в район к врачу. А как повезешь по распутице? Решили повременить – авось... А пока он томился на печи. И когда на неделе, проведав Федю, я зашел проведать и Симку, свесившись, он вяло улыбнулся и вдруг спросил:

– Ты, парень, почитал бы мне что-нито – здесь, на печи.

– Учебник, что ли? – спрашиваю.

– Да ну их, учебники! – И рукой отмахнулся. – Высмотри у Натальи сказки, я сказки люблю, а?

– Сейчас и сгоняю – только ведь у тебя темно.

– А мы фонарь запалим! – И Симка такие глаза вытаращил, как если бы сказал: теплинку разложим!

Я выбрал толстущую книгу «Русские народные сказки». С картинками, хотя и потрепанная, но листы все... С того дня после школы, пообедав, я брал сказки и шел к Симке на печь – читать. Мы засвечивали фонарь, ставили его на плечико – и я читал. Симка так напряженно и тихо слушал, что иногда казалось – спит. Когда же, утомившись, я предложил почитать ему, он как-то даже испуганно покачал головой.

– Нет, парень, не стану. Не интересно, я слушать люблю – с закрытыми глазами...

Иногда мы зачитывались до вечера, и тогда возле печки сказки слушали все Галяновы кроме мамани и Васи. Вася подряжался в подпаски и ему было не до сказок.

А однажды, по-стариковски шаркая ногами, притащился Федя. Не проронив ни слова, он стряхнул с ног злосчастные сапоги, забрался к нам на печку, шумно вздохнул и затаился – оказалось, и он любил слушать.

Витя не приходил, Витя давно уже ежедневно выгуливал своих коняг.

Коняги

Как только снег сошел и вокруг конюшни за дорогой лужайка обветрилась, Витя после школы убегал на конный, к одолевшим зимний голод конягам... За зиму пали всего лишь две лошади и одна корова, но скотина так отошала, что с трудом держалась на ногах и даже не рвалась на волю. Лишь иногда взревет буренка из последних сил или захрапит понурая лошадь. Витины коняги стояли твердо и только в суставах ноги, казалось, не гнулись. Когда впервые по весне Витя тянул коняг под небо, они моргали на свет и дрожащими губами норовили прихватить Витину шапку. Когда же их костлявые хребты и бока окатило весенним солнцем, коняги замерли, опустили головы и лишь изредка вздрагивали. Запрягать в работу таких лошадей нельзя – прежде напоить воздухом и подкормить. А кормить-то и нечем. Коняги еле дотягивались до земли и прищипывали губами летошнюю жухлую отаву. В то же время председатель Семен II выбил где-то кормового овса – положили по килограмму на день. Мала торбочка, а и то поддержка. На припеках вскоре и травка полезла – и уже через неделю запоматывали коняги головами. А еще через неделю встречали Витю тоскливым ржаньем. Теперь же, когда и трава по обочинам дорог щетинилась, коняги тянули за дорогу – там гулял ветер.

Бабы

Понятно, они не сговаривались, но какая-то общая боль или уныние вели их к общему порогу. Еще и не заечерееет, еще дневные заботы не завершатся, а бабы все текут и текут. И сумерничали – вели разговоры, понятные не только им, но и нам, угревшимся на печи. Бывали бабы как будто чем-то возбуждены, чем-то роковым и безнадежным. И голоса-то у всех у них разные – одна будто вскрикивала, другая каждое слово сопровождала вздохом, третья будто шелестела губами, а одна из баб точно гвозди вколачивала каждым своим словом. Иногда разговор напоминал бестолковый базар, начинали в несколько голосов одновременно, – и в то же время это был единый голос, услышать и воспринять который можно было не ушами, а сердцем.

– Да черт ли это за жизнь! Мужиков поубивали, а нам на морды уздечки накинули – задарма и пашем...

– А коли взлягнешь, так и под суд – затрепыхаешься, как белорыбица на суху.

– А не байте... впору хочь и руки на себя наложить.

– А детей, что ли, по миру пускать. Так-то на картошке да переждемся, авось подыдем.

– Коли им задницы жгало, так и колхозы калякали распустишь, а война кончилась – и посапывают в две дырки, трудоднями кормят.

– А ты полно-ка: распусти колхоз, дай тебе земли – кто хозяйствовать станет? Не бывые времена, это тогда в каждом дворе по два-три мужика. Теперича нету – Армагедон!

– И что делать, что делать...

– Дак в омут рыбкой – что делать?!

– Ныне вон два Семена – и снова пугают.

– Ну, бабы, и страшен...

– Пожалеть можно... все они с ушибом – толмачи партийные.

– Поставь кипяточку, чтой-то внутрих все отвердело... А ты, Катя, что молчишь? Или и сказать нечего?

– Что говорить? В ступе воду толочь. Сломались люди – уже и руки на себя накладывать готовы. А что за такое-то дело и не отпевают – не помнят.

– А у нас и всяко без отпевания...

– Не грехи – с опозданием, но всех отпевали. А ино и не получалось.

– Такую-то жизнь и отпевать неча – и не нужна такая жизнь.

– Какая?

– Да такая наша жизнь и не нужна: тянем, тянем – ни света, ни радости... Сами подневольные и детей растим такими. Без слез и погребут.

– Голод, чаю, мы уже осилили. А вот душа задубела – веры никакой. Иссохла душа. Может статься, отсюда и беды все. Опустошились – вот и не ради чего, вот и руки наложить тянет.

– Так... Это и след понять. Не пойдем – со свету и вовсе сгинем.

– Кромешники – вот и отступились от Господа. А теперь – для чего и зачем! Ради земли живем – землю и получим, окромя смерти ничего и знать не хотим... Господи, избави нас от труса. Батюшку явились брать, а мы как курчата от кобчика⁴² под мосты упрятались. А нет бы вышли – не смей! И никаких. Так и отстоять! Терять-то нам что? Нечего. А ведь он ходил и всякий раз ждал этого. И взяли. А мы рабишки, потому нам и жить не для чего. Нет, бабы, лишились заступников – самим надо заступаться. И стоять до последней. Под лежачий камень и вода не течет...

⁴² Кобчик – ястреб.

– Так-то так... Да только всё дети.
– Что дети! Наглядятся на нас – будут за спины хорониться.
– Пусто. Мне хоть кол на голове теши, а я все одно баба – так и останусь бабой.
– Все так, а только без Бога – и жить не стоит. Урока нет, коли смерть заповедана...
– А оно и впрямь тяжело, однако. Огороды на носу, сызнова почнут шугать! Ни по какому наряду не пойду, пока со своим не управлюсь – пошли они вон со своими трудоднями!
– Эх, по лафетничку бы да поплакать...
– Вот-вот, на Великом-то посту.
– Да у нас круглый год – Великий пост... А мой тятенька покойный говорил: пост голодного и молитва пьяного до Бога не доходят.

Эх, во субботу день ненастный,
Нельзя в поле работать...

– Только легче не будет – так и сгинем.
– Церкви нет, батюшку увезли, скоро и сами запоем: Бога нет... подъяремные. Как чушки – неба не видим... Господи, побегу – кормить роту...
И потекли по одной, по две, и когда уже совсем за вечерело, остались Мамка и Настя, вдвоем. Сидели они возле стола и молчали.
И мы на печи молчали – думали недетские думы.

Дикий лук

За луком мы ходили вдвоем с Федей – все на тот же высокий берег, где резали вербу. Только теперь не по воде переходили лощинку. Лука было много, но он еще не поднялся до сбора. Заостренными палками мы выковыривали лук с головками, и когда наковыряли достаточно, спустились к Суре, намыли лука и наелись с хлебом. Хлеб Мамкин и наш, ржаной, мы разделили поровну. И я удивлялся, что и Мамкин хлеб с диким луком казался мне вкусным. Беленькие головки лука даже сладковатые, но язык палило, мы то и дело зачерпывали в пригоршни воды и полоскали во рту.

– Надо бы еще наковырять лучку, маловато. Манечке надо и Симке, оба хворые. А лучок-дичок – гоже от всех болячек. Чеснок да лук от семи недуг. Во как! Наковыряем, а мыть не станем, он и не подвянет. А Симка, эх, и много луку может съесть! – Федя и глаза удивленные выкатил, и головой покачал. – Летось вот туточки же и Витя был, наковыряли мы лука вдвое, чем теперь. И он на слабо всё съел, и всего-то махонький кусочек хлеба был – ест и ест, и все ухобачил!..

Мы сидели на бережку неумной Суры. До сих пор речка не вошла в свои летние берега, ярилась, пенилась. Потопленный ивняк пластался по течению, и свинцово-темная вода будто уносила вниз по течению еще одну тяжелую зиму. Удивительная речушка, бедовая! И даже летом, вдруг и взбунтуется после дождя!

– Федя, – говорю я ему, – а вы с Мамкой чего корову не заведете? И жили бы с молочком и с маслом.

– Да ты что, парень! – И как будто замер с открытым ртом. – Ну ты и сбуровил! А корма где? Одного сена сколь надо – стог целый! И комбикорма нужны. А то ведь и будет зиму на помочах болтаться! А покосов, паря, не дают! А если что и дадут, так для козы не накопишь, где-нито в осоке... Я ведь Милке по обочидам да по Лисьему оврагу так по клочку и сшибаю. В лесу косить не дают... А сколь тягот с коровой! Если бы Мамка даже не батрачила в колхозе – и то никак! И налог на корову... Я ведь Милку и подою, и в хлевушке у нее почищу, и на зиму веников наломаю – все сам. Манечка без Милки что бы и делала! Мне, парень, только бы Манечку поднять. Меня, может, и в армию не забреют из-за нее. А мне в армию, как пить дать, надо, я уж из армии не возвращусь. И Манечку утяну отсюда. Она в колхозе помрет раньше срока...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.